
ТИХОН АСТАФЬЕВ
КТО ОБГОНИТ СОЛНЦЕ?

ТИХОН АСТАФЬЕВ

КТО ОБГОНИТ СОЛНЦЕ?

ПОВЕСТЬ, РАССКАЗ



ВОРОНЕЖ
Центрально-Черноземное
книжное издательство
1986

84Р7
А91

Рецензент Л. Д. Коробков.

Астафьев Т. Д.

А91 Кто обгонит солнце? Повесть, рассказ. — Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1986. — 223 с.

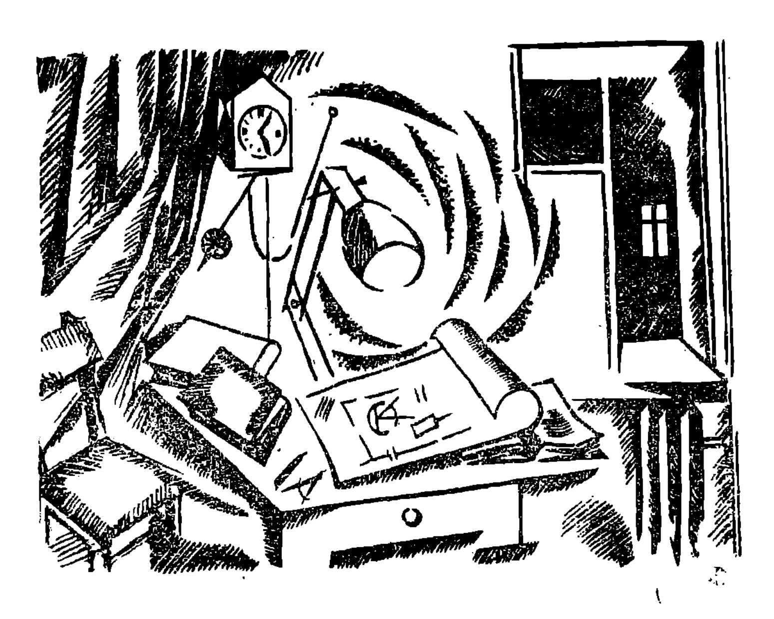
ИСБН

Астафьев Тихон Данилович родился в 1925 г. Заслуженный юрист РСФСР. Автор двух сборников рассказов: «Гильзы в золе» (Воронеж, 1964) и «Следствие окончено» (Воронеж, 1966). В 1977 г. вышел роман «Решающая схватка». Живет в Воронеже.

Новая повесть «Кто обгонит солнце?» воронежского писателя Т. Д. Астафьева адресована молодому современнику. Герой повести — Геннадий Щепкин отслужил в армии, работает в радиомастерской и учится на вечернем в политехническом. Перед читателем Геннадий предстает в пору сложных нравственных испытаний, из которых он выходит человеком, граждански возмужавшим, обретающим твердые жизненные позиции.

А $\frac{4702010200-036}{М161(03)-86}$ 22-86

84Р7



КТО ОБГОНИТ СОЛНЦЕ?

ПОВЕСТЬ

1

Вьюга метет по крышам, завивается вокруг слуховых окон и печных труб, насквозь продувает иззябшие скелеты кранов, отбеливает по линейке балконы и карнизы; она бушует и выше, над заводскими трубами, шпилями высотных зданий, но об этом можно только догадываться: в самом верху, выше труб ничего нет — ни солнца, ни туч, ни горизонта, одна беспросветность.

Отец в это ненастье бегает со своим фонарем на станции вдоль товарных составов и внимательно, точно минер, высвечивает буксы и сцепки.

Я рад, что самодовольное существование машин внизу, на окружной дороге стало хоть немного походить на трудный людской удел. Самых нетерпеливых и юрких уже не слышно, стоят полузанесенные снегом, а те, что повыше на ногах и потяжелее, скромно ползут по засыпанному пургой лотку улицы, отвоевывая себе каждый метр пути.

С самого утра, как только я засел у окна за курсовой проект, они убеждали меня в том, что весь смысл сущего в равномерном и прямолинейном движении, достаточно лишь иметь полный бак и крепкие шины. Теперь они замерли с полными баками и крепкими шинами, вьюга поставила их на место. И на этом месте засыпает их снегом.

Мать довольна, что я исчерпал все поводы отлынивать от дела, убирает посуду бесшумно, тотчас усмиряет кран, как только он порывается гудеть.

Есть ли оно, прямолинейное и равномерное движение в окрестном мире?

Я уже не смотрю вниз, мне не надо. Натужный гул двигателей за окном хорошо слышен. Я внимаю двигателям без сочувствия. Каждый должен знать свой шесток и не раздуваться, как лягушка в басне.

Нет ни равномерного, ни прямолинейного.

С этой гипотезой мне легче расширять объем курсовой, а моим неглавным мыслям легче разветвляться и уходить в недавнее прошлое.

Идем с отцом в субботу, а навстречу тот самый Василий Васильевич, который в прошлом году вызывал отца к себе на девятый. Просит (если можно, если нет препятствий, если нет затруднений и т. п.) взглянуть на телевизор у одного больного старика: целые дни дома, тоска, а что там в мире происходит, неизвестно. «Любопытный, знаете, человек, ученый по пернатым. Внучка его все звонит в мастерскую, а мне слышать в тягость— ничего ей не обещают».

Все, что в свое время говорилось в кабинете у Василия Васильевича, отец выкладывал дома, и я Василия Басильевича уже заочно знал. Не такой, каким я себе представлял его. Он приметил мой разочарованный взгляд и усмехнулся в знак того, что я прав: дескать, служащий он, а не бог весть кто. Мне такая откровенность понравилась, и я обещал ему взглянуть на телевизор. Василий Васильевич записал в книжечку мой служебный телефон, узнал, что есть домашний, и этот записал: может, мол, придется позвонить, память, знаете. Я понял: позвонит непременно, и не один раз, если будет нужно. Да и память у него, пожалуй, не так уж плоха.

Я слишком внимательно разглядывал и его, и книжечку, и то, как он аккуратно заносит меня туда. Он лукаво мне улыбнулся.

— Долгий сынок у вас вытянулся, Петр Павлович,— сказал он, окидывая меня на прощание, и прямо с места, без разгону пошел, словно говоря: времечко надо беречь.

А в понедельник я двигался к первому клиенту, будто по дну водохранилища. Поселок погибал в тумане. Туман — это обезножевшие тучи, бессильные подняться вверх и не нужные на земле. Колеса рвали в клочья белую дымку, таранили ее лучами фар, но она по-прежнему заполняла собою все вокруг.

В тумане и мысли сыреют. Я был рад войти в тепло, в ярко освещенную квартиру.

Отработал первый наряд и снова выбрался на улицу. А там уже светило солнце и туман исчез без следа. Тротуары парили, ручейки звонко сливались в колодцы, машины гнали воду по талым морям, разбивая отражение перевернутой улицы. Улыбались даже манекены в витринах, обласканные солнцем. Самая радостная часть весны та, какую чувствуешь лицом.

В стекле витрины впереди меня легко скользит женский силуэт. Сапожки, брюки, куртка. А вот и профиль... Не успело даже мысли никакой прийти — сбавил шаг. Дальше нельзя. Я могу ее обогнать. А назад тоже нельзя. Ждет клиент, он отпросился с работы. И я сворачиваю в двери магазина. Здесь как раз то самое место, что мне нужно, я возьму автотрансформатор, чтобы подновить дома телевизор. На новый кинескоп до получки не наскрести, а этот навесишь и смотри себе передачи полгода, а то и год.

Я уже в магазине, а она по ту сторону стекла. Если бы не улыбалась в стекло сама себе, могла бы меня засечь. И вдруг вижу: она возвращается назад и входит в ту же дверь.

Очереди в кассу нет, я весь на виду, подаю деньги, у меня уже в руках чек, а я боюсь повернуться назад: вдруг она смотрит мне в спину?

Глядя прямо перед собой, иду к прилавку, и через минуту — пронесло, я опять на свободе. Выручила вторая дверь. Не хотелось бередить то, что надо забыть. Из-за нее у меня давно нескладица, походишь-походишь с девчонкой, ничем не хуже ее, а кажется — не то. И канитель уже три года после армии, да и там в каждом письме из дома все было об одном: что она со Славкой да со Славкой... Она замужем, и все давно позади.

Шагая с потертым баульчиком в руках, я похвалил себя за твердость.

Ворона со своего литерного места, с верхушки столба перед гастрономом, поглядывала на мою картонку, прикидывая, не выпадет ли из нее сыр. Не выпал. Она меня знала. Я ее тоже. Теперь и я себя знал: могу быть твердым.

Двор, где жил знакомый Василия Васильевича, стал водоемом с островами строительного мусора. С камешка на камешек, где вдоль стены, где по воде, добрался до подъезда. Вбежал на второй, нажал кнопку. Открыли сразу, не держа у цепочки.

Платье старенькое, короткое, ноги голые, в руках швабра, лицо строгое. Я улыбнулся. Она взглянула на мой чемоданчик прищуренными глазами и гордо повернулась ко мне спиной. Повела по коридору. Свернули в большую комнату. Опять ненавистный ковер. Нужно снимать обувь, а носки мокрые.

Стараюсь поскорее засунуть ноги в шлепанцы, но она заметила. Ничего другого от таких, как я, она не ожидала.

На диване, застеленном простыней, сидел небритый старик в пижаме, и, держа на колене общую тетрадь в клеточку, писал шариковой ручкой. Тетрадь была исписана на самых первых страницах, я прикинул, хватит ли ему времени закончить ее. Хватит. Он крепкий.

Вместо портретов на стенах висели изображения птиц — на гнезде, в полете, в пике, на добычу. Висел и полевой бинокль.

Она поставила швабру в угол и стала перетирать книги. Занятие переменила, чтобы наблюдать за мной.

Не снимая куртки, включил телевизор, ящик загудел. На первый случай спасибо, не искать обрыва питания, не копаться в розетке, в жилах около вилки, здесь провод по-дурному перетирается, не пробовать тестером шнур самого приемника. Нагрелся, подал голос — недурно, звук в норме. Прорезалась и картинка, серая, жалкая. Либо кинескоп потерял эмиссию, либо лампы.

Генератор строчной развертки пищит — здоров, уж ясней: сел кинескоп. Хорошо, что я не разделся. Кинескопов я с собою не ношу, их за наличные покупают.

Этажом выше во все колонки бухала музыка и слышался топот. Хрустальные подвески люстры раскачивались.

— Можно с ума сойти, — простонал старик.

На этой неделе кинескопов мастерской не обещали, так что придется слушать ту музыку, что над головой. Сказать об этом старику сразу было как-то неловко. И я крутил регуляторы настройки, обдумывая, как бы покруглее все объяснить.

— Не клеится? — спросила она.

— Ну как ты, Лида, так сразу? — вмешался хозяин.

Она посмотрела на меня с выражением, означавшим: сразу видно, что за мастер. И вышла.

Я стал неторопливо распаковывать коробку с автотрансформатором. Снял куртку и кинул на спинку стула, завернул обшлага рубашки и вытащил фланельку,— на лампах всегда лежит слой пыли.

Вывинтил четыре болтика, отнял заднюю стенку.

АТ сразу не поставишь. Нужно навесить его изнутри на заднюю стенку. так, чтобы он располагался поближе к колодке кинескопа, соединить его с кинескопом колодка в колодку, опробовать. Мороки много.

Я хотел блеснуть быстротой и путался то с инструментами, то с порядком операций. Все-таки сделал.

Изображение стало сносным, звук и прежде был отчетливым.

— Кинескоп придется покупать новый, протянет полгода-год.

— Нас уже пугали, — сказала она, появляясь на пороге.

А я поставил ей свой кровный автотрансформатор!

Натянул куртку, резанул «молнией» снизу вверх, всунул ноги в мокрые ботинки.

Вижу, собирается что-то сказать.

— Вы не постояли бы там около двери, пока я не скажу, чтобы они потише?

И показала на потолок.

Ах, вот оно что. Она хотела бы вести переговоры с соседями с позиции силы. Начитавшись книжек о том, как отважные парни при виде таких длинноногих, как она, сломя голову кидаются на всяких невеж, она пожелала разыграть подобную сцену с моим участием.

— У меня много нарядов, — сказал я.

Неторопливо получил деньги и распрощался.

Она мстительно защелкнула за мною дверь. Уже на площадке я скроил ей рожу и высунул язык. Жалко, что в двери не было глазка.

Тем временем наверху наступил штиль. Наверно, снова сели за стол.

До приятного свидания!

А через неделю она сама утром явилась в мастерскую.

— Здравствуйте. Я вас тогда обидела, такой уж у меня склад, не могу не сказать дерзость человеку за то, что он приятный, а я нет. Трубку мы купили.

Оказывается, к деду она ездила из самого центра для борьбы с пылью.

Я пригласил ее в кино, и мы уютно, плечом к плечу посидели в зале, ее маленькая рука была жаркая-жаркая.

После сеанса немного побродили, послушали, как сливается в колодцы талая вода, потрогали упругие ветки холодных кленов, подышали сырым мартовским воздухом, в котором уже чувствовался запах коры.

— О чем ты думал в зале? Ты рассеянно смотрел на экран.

— Я помню весь фильм, — сказал я.

«В то утро я видел ее, а шел к тебе. Не странно ли?»

Старался обходить места, где мы назначали когда-то свидания с Татьяной.

Когда наша обувь отсырела от ходьбы по лужам, я проводил Лиду на остановку. Ей нужно было возвращаться в центр.

И надо же. На автобусной мы столкнулись с моей матерью! Фонарь светил тускло, и, чтобы получше разглядеть девчонку, мать сступила с тротуара и, показывая, будто высматривает автобус, внимательно окинула взглядом Лиду, которая не подозревала, что женщина в новой шапке — моя мать. Лида стояла, заслонившись мною от ветра...

Она юрист, даже не то слово — следователь. Пока еще не настоящий, но овладевает. Размышлять — ее служба. Спрашиваю однажды: как ты размышляешь?

Оказывается, она уже знает как. Ее научил наставник.

Скроила мудрую физиономию и неспешно старческим голосом, копируя коллегу, поведала:

— Если просторы вашей памяти, Лидия Васильевна, нешироки, если вам не суждено идти к истине прямой дорогой, без перебора вариантов, то восполните ограниченность ваших догадок числом поисков, бегайте, не зная

ни сна, ни отдыха. Смышленый отыщет цель сразу, а служащий выстрадает ее, перебрав все варианты; один придет к ней умом, другой трудом. Не завидуйте чужому остромыслию, напротив, пусть каждый завидует вашей несокрушимой энергии. Ум без энергии — ничто, энергия даже при скромном уме — дар свыше. Пользуйтесь им. Если остается хоть один шанс из тысячи — не упустите его. Кто знает, не он ли ждет вас? Не ищите предлога сидеть на месте, предлог всегда можно отыскать...

Я был несказанно обрадован тем способом, каким она собирается добывать истину, простейшим, можно сказать, примитивным, с ошибками и огорчениями. Такой доступен всякому, то есть и мне. За искренний ответ я вознаградил ее нежным поцелуем, она же не могла понять, чем я так растроган и что особенного она мне сказала; двигалась она к разгадке, очевидно, путем перебора вариантов, и моя тайна пока в неприкосновенности.

С этой минуты ее серьезное лицо меня уже не пугает. Лида удивилась перемене, происшедшей во мне, я посмелел и стал дурашлив, тотчас разглаживаю пальцами строгую ложбинку между ее бровями-подковками, возвращаю ее лицу приятные, изначальные черты.

Порою у нее такая искренняя улыбка, что меня затопляет радостное предчувствие недалеких дней, когда Лидия станет совсем простой и открытой.

Папа у нее доцент, мать кандидат каких-то наук, каких — еще не успел узнать, а дедушка — ученый по пернатым. Сплошная наука.

Несмотря на то что привязанность наша недавняя, наставник Лиды Василий Васильевич уже узнал о нашей дружбе. Стою в пятницу вечером у подъезда, служащие радостно валят из дверей, я в сторонке, на отшибе. И вдруг он пробирается ко мне по ломаной, лавируя в людском потоке.

— Лидия Васильевна в отлучке. Вам бы лучше заранее звонить, времечко и береглось бы... Удивляетесь, откуда я знаю ваши секреты? С балкона видел, как вы вчера с Лидией Васильевной дорогу перебегали. А сегодня вижу — ожидаете. Зачем, думаю, человек будет напрасно стоять? Вы уж Лидии Васильевне не говорите, а то еще подумает, что я за вами подглядывал. Совсем ни к чему... Не знаете, подовый напротив есть?

Мне тоже на ту сторону. Перешли вместе. Подовый в магазине есть. Взяли по коврижке.

— Если вам надо подождать, вы подымайтесь сразу к нам, кверху. У нас в эти часы людей бывает немного.

— Не к чему, — говорю. — Может, и недолго все продлится.

Взглянул с любопытством мне в лицо, тронул за рукав повыше локтя и впал в ручеек людей, спешащих по вечерним делам.

До теплых дней Лида изучала меня, примеривала к заветному эталону. Я не выдерживал размер ни внешностью, ни местом в жизни. Увы, настоящая любовь к ней пока не шла, а с кем послушать новый ансамбль или заезжего поэта? Со мною.

В апреле возвращаемся после дискотеки, ходили «подергаться» под свеженькую цветомузыку. Ноги ноют, голова гудит, на душе пусто. Три часа трястись и прыгать в духоте на одном месте под рев колонок — любой умучается.

Плетемся не спеша, как будто в тишину провалились, она безмятежно и спрашивает: а почему ты, дескать, в армии крутил баранку, а не служил по специальности? Ты же радиомастер. Понял я, куда клонит: поглядели, мол, что мастер я никчемный, и за баранку меня.

Отвечаю таким же тихим голосом, каким спросили: военкомат послал на курсы, в ту пору нужны были шоферы.

— А почему ты, — говорит, — не попал в институт на очный, ты же со школы копался в проводках?

— От рождения, говорю, недостает одного балла, оттого и на вечернем.

— А не оттого ли, что любишь растекаться мыслью по древу?

А с таким, дескать, многое ли достигнешь.

— Я бы и сам хотел поумнеть, — говорю, — да не получается.

Доходим до остановки маршрутного такси.

— Ты обиделся? — спрашивает.

— Не на что, — говорю.

За мною водится этот грешок — тяга безвредно поумствовать, еще со школы водится, это от множества книг, которые не следовало открывать, и, как я ни старался в разговоре с Лидией держать эту слабость под

спудом, решительность и сосредоточенность на моем лице задерживались ненадолго и скоро уступали место веселому любопытству и желанию вступить с Лидой в словесный контакт по поводу различных непрактических тем.

Вот она, дурная примета — силуэт в стекле витрины в тот день, когда я шел к Лиде. Сказал себе: звонить больше не буду.

Выждала минуту. Посмотрела насмешливо: да, ты не тот, кого я ждала. Я ей улыбнулся в ответ: мол, знаю.

И мы расстались.

А в конце недели звонит сама, приглашает побывать у нее дома.

Что бы я там делал, если бы не теория случайных и вероятностных процессов. Она помогла мне овладеть собою, пока хозяин и его пожилой коллега с бородкой углубляли эту теорию в колкой беседе. Когда разговор сам собою перекинулся к делам более насущным, я уже был способен понимать то, о чем меня спрашивали, и связно отвечать.

Хозяину польстил мой наивный интерес к предмету, и он снабдил меня брошюрками, на титуле которых стояла его фамилия.

А потом был чай с бисквитным тортом.

Лидия вышла меня проводить, и я спросил, не посетит ли она меня с ответным визитом. На батин юбилей. Спросил безбоязненно, словно испытывая на разрыв и удар заново начавшееся временное согласие и заведомо зная ответ. И снова негаданность: она ничего не имела против.

Для отца большой нужды собирать сразу всех не было. Встретиться то с одним, то с другим отец не прочь. Он человек общительный и в подходящую минуту, особенно если осуждающе не смотрит мать, готов вести себя раскованно и легкомысленно: и «цыганочку» станцевать, и спеть (голос у него есть, но дома он чаще напевает детскую «Федору»), и поведать смешное. А собираться всем вместе? Что он за персона?

Только мать рассудила тоньше: мы не хуже других.

В таком полном составе, как тогда, нашим знакомым вряд ли удалось бы сдвинуться в кучу, если бы круглая дата у отца еще более не округлилась премией в

размере месячного оклада осмотрщика вагонов. Мать не упустила случая заметить, что более удачливые мужья не ждут таких подарков свыше десяти лет. Обычные премиальные не в счет. Они для матери неотделимая часть отцовской зарплаты.

Отец прикидывал, каким бы манером облагообразить к юбилею наше жилье. Мебель у нас была разных поколений, возраст вещей, однако, не свидетельствовал о степени их прочности. Новый полированный стол на винтах развалился, как только на него встали, чтобы повесить постиранные и выглаженные гардины. Теперь из сарая принесли старый, слегка поциклевали его, накрыли новой скатертью. При побелке не нужно будет сколачивать козлы, этот не развалится. Начиная с первого, я готовил на нем уроки. На исподе крышки у него таится шершавый сучок, который я любил раскачивать. Сучок помог мне решить много задач.

Если к столу приставить мой большой письменный, то, по мнению бати, гости поместятся раздольно.

Креслом батя тоже оказался доволен. Всего месяц назад оно прошло перетяжку. Отец поставил на спинку и сиденье толстенный поролон, который вздыхал и мягко опускался под тяжестью того, кто садился, располагая к длительному покою и отвлеченным мыслям.

— Его мы накроем новым ковриком, — сказал батя, глядя на старую, потерявшую цвет обивку.

— Это восемнадцать рублей, — донеслось из кухни. А мы думали, что мать не слышит нас.

Диван был еще совсем хорош, но уже постреливал пружинами. Года два решали, перетянуть ли его и заново обить свежей обивкой или выбросить, но пока еще не решили. Под ярким шерстяным ковриком он выглядел совсем молодо. Отец пододвинул его чуть ближе к двери, — на равном удалении от стен. Симметрия должна была повысить его достоинства.

Высоченная, под самый потолок книжная полка несколько покосилась от неровности пола. Отец придал ей строго вертикальную позицию, заложив между нею и подоконником детский кубик. Книгами у нас забиты и встроенный шкаф, и одна из кладовок, но эта высоченная полка особая. На ней лежало все то, что мне в мальчишестве рано было читать. Все это я перечел в первую очередь.

Книги достались матери от ее родителей. Половина

из них старинные, с буквой «ять» и твердым знаком. Тома стоят на извечных местах. В темноте можно отсчитать нужное количество корешков и на ощупь вытянуть заветную книгу, не забыв на самую чуточку расширить интервалы между остальными.

От соседства с кубиком полка приняла молодецкий вид.

А вот живопись батю огорчила. На стене рядом с мохноногой лошадкой, тащившей мимо жердевой изгороди сани с седоком, висела гордая «Незнакомка», сильно тронутая солнцем. Выгоревшую репродукцию отец решил снять, оставив только свежий эстамп с лошадкой, но должен был убедиться, что лошадке и даме еще долго пребывать в узком кругу. Стена вокруг обеих картин выгорела, и стоило снять одну, как рядом с другой бросался в глаза участок жизнерадостных обоев.

— Летом сделаем ремонт, — сказала мать из кухни. По тону я понял, что обещанное случится в самые первые дни лета.

Помнится, батя не отыскал новых изъянов в облике нашего жилища и сказал, что пойдет взглянуть на мотоцикл, хотя я и доложил ему, что мотоцикл в ажуре. Из отцовского кармана торчал непременный блокнот.

— Опять в свой «кабинет», — проворчала мать, когда отец был за дверью.

По тому, как мать стала готовить кое-что из пищи не требовавшей терзания зубами, я сразу понял, что она собирается позвать на наше семейное торжество и Григория Ивановича, нашего соседа по Дачному. После сноса барака мы и на новом месте живем неподалеку друг от друга. Правда, в последние годы наша дружба несколько потускнела, но виною тому всеобщий загруз. Григорий Иванович больше в своем гараже, латает чужие машины, от страдальцев-частников нет отбоя. Вкалывает старик вдвоем с сыном Славкой, моим школьным приятелем.

Уже в новом доме Григорий Иванович во всех наших комнатах и на кухне заменил плоские, долго мучившие нас батареи (их внезапно пробивало и они текли) на чугунные ребристые, которые добыл через одного клиента на складе. За работу с нас не взял ни копейки.

Батя был рад оживить старую дружбу. Правда, на

ее ниточке был узелок, который завязался еще четыре года назад.

Пока я гонял в армии вездеход, моя девчонка вышла замуж да Славку. Лучшего подарка моим родителям Замылины и сделать не могли: и отец, и мать о Танюшке не хотели слышать. Недавно свекор собрался выпроводить их в кооператив, чтобы наконец пожить в душевной тишине. Мне без разницы. Пусть едут. Ушло все. Так, изредка вспомню да иной раз постою у окна, когда она в магазин идет.

У меня теперь другая. Мать рада, что Лидия тоже будет на юбилее: матери улыбнулся восхитительный случай показать Замылину, что рядом со мною сидит дочка доцента, девушка не без веса, как не пригласить давнего приятеля! Пусть Григорий Иванович и гостей окинет приметливым взглядом, у каждого из них под началом люди; каждый из гостей не чета клиентам Замылина, которые только что перед тобою заискивают, а выехали с исправным мотором из гаража — и уже не те, сладости у каждого на сердце поубавилось, благодарят торопливо, а про себя, глядишь, каким-нибудь словом обзывают... Мать рубила начинку для гусиной шейки, которую Григорий Иванович очень любил...

Застолье было как застолье, ничего пышного, однако ж мать умеет порадовать гостей и на скромные средства.

Меня удивила приветливость, с какою мать встретила чету Полозовых.

С короткой стрижкой, в ярком платье, Ольга Федоровна Полозова выглядела совсем юной рядом с крупным мужественным супругом, хотя разница в их летах невелика. У гостьи было ровное, я бы даже сказал, взвешенное выражение — ни попытки попасть в тон, ни вызова. Никто из гостей не уловил бы в радушных словах матери ни малейшего намека на чрезвычайное любопытство при виде Ольги Федоровны, никто, кроме нас с отцом.

Николай Иванович Ключников, сосед по лестничной площадке, явился при полном наборе орденских кирпичиков на белом пиджаке. Колодочки он прикалывает на грудь только по праздникам. Размашисто потряс отцу руку своими ладонями, у него нет пальцев, и пожелал ему небытовых благ, потом извлек из оттопыренного кармана малюсенький, на батарейках телевизор. выкинул антеннку и засветил экран.

— Можете смотреть в своем сарае.

Пожелание было полно самых сердечных оттенков. Такие в голосе Николая Ивановича слышатся нечасто, уж я-то знаю: он мой начальник, заведует мастерской по ремонту телевизоров.

Эта японская штучка, некогда безголосая, с экраном, казалось, померкшим навсегда, теперь, после реанимации, выглядела очень привлекательно.

Мать нахмурилась при взгляде на подарок, но гневного разряда не последовало.

Сарай — враг матери. Там место уединения отца. Улучшить оснастку сарая даже этим лилипутским телевизором — значит нанести ей скрытую обиду.

Все свободное время отец отдает ремонту мотоцикла, на котором ездит на работу и с работы. Для него нет более счастливых минут, чем ремонтировать мотоцикл. Она часто замирает, уставившись в потолок сарая, достает замасленными пальцами из кармана толстую книжицу с клеенчатым верхом и радостно что-то записывает. Счастлив тот, кто изобретает вечный двигатель. Такие неприхотливы и довольны малым. Окружающего почти не замечают, жизнь для них — досадная цепочка помех на пути к заветной цели. Дождь ли, жара, злая непогода или ведро, батя всегда занят, с ним всегда неотступная забота. Если и промелькнет легкая тень по его челу, то на самое короткое время: дурные мысли мешают искать и надеяться.

Улыбаясь, сносит ругань начальства и попреки жены, зная, что моральные и материальные невзгоды были уделом тех, кто искал.

Приходит ли ему когда-нибудь мысль, что искали многие, а находили единицы? Эта догадка, случайно забреди она ему, не удержалась бы в нем дольше минуты.

Не отказывается ни от какой работы ни дома, ни на службе, охотно выполняет все, что велят, даже с каким-то внешним удовольствием, но мысль его не с тем делом, каким он занят, мысль его не здесь. Он потому охотно выполняет все, к чему его принуждают, что впереди у него сердечное дело. Поскорее оказаться наедине с ним, поскорее столкнуть прочь все, что другим кажется важным, поскорее миновать все препоны!

Свои чертежи и заметки таит, даже мать не знает, куда он их прячет. Но я-то прочел их. Отец втайне раз-

мышляет над значением подшипника вагонной буксы в мироздании, усиленно читает технические книги, ездит с составами в свое кровное нерабочее время, чтобы понаблюдать, насколько верны его догадки о причинах загорания букс.

Одни его шпыняют, другие доносят о его поездках начальству, оно его прорабатывает, а догадка по-прежнему жива. Он не инженер, не механик, не конструктор. Даже не старший осмотрщик, я уже говорил, он только осмотрщик.

Чтобы его не посылали в магазин и не заставляли терять драгоценные минуты на выстаивание в очередях, отец дочиста избавил себя от денежных знаков. Все деньги у матери. Его лучший друг и собеседник — мотоцикл. В таком превосходном состоянии вряд ли содержится хоть один мотоцикл в мире! Каждый узел, каждая деталь заботливо осмотрена, насыщена вдоволь смазкой и мыслями отца о безопасности человечества.

Пока мать и соседка расставляли на скатерти самую выносливую посуду, оставшуюся от двух-трех дешевых сервизов, Игорь Николаевич неожиданно обнаружил в лице Замылина такой источник знаний об автомобиле, какого не встречал и среди знатоков. Оторваться от этого источника Полозов уже не мог.

Оказывается, чем меньше сопротивления в глушителе встречают отработанные газы, тем экономичнее и мощнее работает двигатель.

— Где же вы были? В нашем краю их ставят уже год. — Старик из скромности не приписал себе чести изобретения, умолчал и о том, что сам ставит их, правда, за хорошую плату.

— В этом можно помочь, — обещал он осторожно.

Полозову показалось, что он уже где-то встречался с Григорием Ивановичем, но, сколько ни силился, не мог вспомнить.

— По нынешней жизни, Игорь Николаевич, можно и не вспомнить. Торопливая жизнь. На вашем заводе я бывал, когда мастером на прессовом работал. Могли и мелькнуть друг перед другом.

Григорию Ивановичу гости пришлись по сердцу — разумные, уважительные, каждое твое слово оценят, все тонкости и оттенки уловят, с такими и крепкого выпить не грех, а если вымолвишь иное нетрафаретное слово— не разнесут.

После второго тоста он душевно побеседовал сначала с матерью, потом с батей. Он любил нас: отца за то, что нечестолюбив и не замахивается на многое, мать за то, что она всегда встречает Григория Ивановича с искренним радушием, умеет угодить, всегда помнит о его зубах, требующих индивидуальной пищи; всех вместе любил за то, что мебель у нас, как и встарь, скромна, что мы ценили не только его соседские услуги, но и его голову и руки, что мы и теперь не забыли о нем, хотя он уже подумывал, что старая дружба начала ржаветь.

Мать подкладывала ему на тарелку паштет с необыкновенным названием.

Хозяйка знает, что привлекательность стола возрастает не только от свежести и питательности блюд, но и от изысканности их названий. Какое для хозяйки удовольствие обронить, будто невзначай, иноземное словцо, да так, чтобы его слышали все, и попросить соседа положить ей ложку-две кушанья.

Глядя на какое-нибудь обыкновенное мясо, крошенное кусочками или полосками и сдобренное рыжим соусом, непременно потянешься к нему за одно только название.

Паштет Григорию Ивановичу понравился, а еще больше радовали его вопросы матери, которая любопытствовала, не собираются ли молодые отделяться, подвинулось ли строительство кооператива, за сколько комнат молодые внесли взнос, хороши ли края, где расположен дом, есть ли там место для гаража (у молодых машина, у свекра своя).

Григорий Иванович отвечал обстоятельно, не без гордости за сына, не замечая, что вопросы хозяйки более предназначались для того, чтобы я намотал себе на ус, чего добиваются такие прилежные ребята, как Славка.

Потом вниманием Замылина снова овладел Полозов, его продолжал интересовать глушитель.

— ...Очень просто: внутренние перегородки вытачиваются в виде лопаток, вроде турбинных, — гудел Григорий Иванович.

О лопатках мне слышать было отрадней, чем о делах Славки.

Я поставил на магнитофон самую лучшую кассету. Даже мать сейчас согласна послушать Высоцкого.

Лида тоже. Она хорошо знает его персонажей по

службе, но внимает голосу о них с интересом, удивляясь тому, что у них обыкновенная душа, может быть, похожая на ее душу. Ей-то все-таки думается, что они из четвертого измерения, не такие, как все, и не были такими от первого детского крика.

Послушал и Григорий Иванович.

— Рано мы резвиться стали, испортили их, держим нахлебниками до двадцати трех, а кричим: будь трудолюбив! А они вот такие, гитара да бутылка.

— Ну, скажем, отдельные, — возразил Николай Иванович, мой шеф.

— Отдельных-то больно много.

Тут потолковали об «отдельных», Лидия тоже не осталась в стороне, рассудила умненько и не так чтобы сухо, а в меру. Все согласились с нею.

Григорий Иванович, как я приметил, уже давно следил за тем, как Лида ненароком посматривает вокруг себя. «Не пойдет она к вам, хоть люди вы и хорошие»,— излучал его вдумчивый взгляд. И, решив эту задачу, Григорий Иванович стал обсуждать с Полозовым достоинства приставки, которую можно приютить между карбюратором и впускным трубопроводом, чтобы подавать в цилиндры вместе со смесью распыленную воду. Литра два на сто километров. Полозову все ясно.

— Воду брать из бачка для обмыва стекла?

Замылин радостно кивает. Как говорится, рыбак рыбака...

«А не ошиблась ли бывшая супруга Игоря Николаевича, когда оставила ему при дележе машину?» — возможно, думает мать, поглядывая на Полозова. А может быть, ее взгляд означает что-нибудь другое?

Лида озадачена обликом обитателей окраины. У хозяйки достоинство, осанка, обдуманная речь, насыщенная не одними обиходными словами (Лидия не знает, что мать — инженер, я не счел нужным об этом поведать), хозяин толкует с гостями на равных, привычно пользуется техническими терминами, имена авторов книг роняет без всякого благоговения, беззаботно хохочет, не чувствуя себя уязвленным сирой обстановкой жилья. Я тоже, по ее прикидке, не без особых примет: вместо того чтобы размышлять над схемой сборки телевизоров, мечтаю о сборке в правильных сочетаниях осколков видимого и слышимого, рассеянных в беспорядке среди нас.

Она замечает пристальное внимание к себе и к тому правовому учреждению, где служит после вуза почти год. У нее звучный голос, и прямая поза, и осторожность в ответах, и манера поглощать пищу маленькими кусочками, точно ее снимают для кино.

Ей налили слабенького, и она отпивала одновременно со всеми из своей тяжелой стеклянной рюмки, которую потом порожнюю незаметно держала на весу, чтобы дома рассказать, какова ее тяжесть; она гордилась тем, что старалась не замечать всей скромности достатка хозяев.

— Подай-ка с того фланга булдыжечку, хозяин. Эту самую.

Отец подал.

Николай Иванович ловко зажал ее короткими ладонями и аппетитно вгрызся в нее.

Я-то привык к тому, как он ухватисто обходится культяпками. А Лидия украдкой смотрит. Он заметил и презрительно усмехнулся. Мать не пропустила обмена взглядами и огорчилась.

Ольга Федоровна второй раз подливала себе окрошки. Недурно. Пусть запомнит, как нужно готовить настоящую окрошку.

Ольга Федоровна впервые у нас.

Мать старается показать, что никаких особенных причин для любопыстсва не видит; гостья готова ей поверить, увы, неловкость до конца не оставляет ее.

Не думает ли мать, помня за собою в прошлом известную резкость выражений (они в семейном обиходе неизбежны и воспринимаются всеми как неокончательные), что при случае разладом пользуются вот такие, как эта, приятные женщины?

А тут еще и подозрение, что едва заметная ранее тяга отца к изобретательству вечного двигателя не без помощи Полозова углубилась до того, что вагонная ось готова стать осью батиной жизни.

Мать и сама старалась дотянуть отца, как она говорила, до своего уровня, проявляя при этом необычайную энергию, может быть, еще с первых дней замужества поставила перед собой эту цель, но плоды этих усилий, на ее взгляд, оказались с кислинкой.

Вряд ли она права. Возможно, букса — только мираж. Не знаю. Но дорога к ней лежит через книги, которые отец одолевает с карандашом. Выгоды никакой:

Диплома не дадут. А все-таки при взгляде на его конспекты беспокойство: а все ли у тебя самого хорошо? И стыдно чего-то. А чего — не знаешь. Пожалуй, и нечего стыдиться, а тревога.

Мужчины увлекли отца в комнату-боковушку и обрядили его в иноземную рубаху, только что преподнесенную Полозовыми.

Я взял бы такую за милую душу, даже в обмен на ту, что недавно добыл из самых чернорыночных глубин. Отец ненастойчиво сопротивляется и спустя две-три минуты вступает с явно современным видом в большую комнату.

Лиде зачем-то хочется знать, кто из родителей влияет на меня больше. Я и сам не знаю.

Глядя на отца, мне с самого младенчества хотелось жить по справедливости, глядя на мать, хотелось быть реалистом.

Уже в выпускной группе детсада я отметил первую вопиющую несправедливость жизни. Выводят собак из дома, одни чистые, сытые, выхоленные, шерсть лоснится, на цепи не удержишь — кони! А другие зачуханные, бегают где попало, кормятся около контейнеров с мусором, живут ничьими во дворе, одно только удовольствие у них — полаять ночью на случайного прохожего или на запоздалую машину на большаке. Только кто их боится, кому нужен их лай? Всем докучают. И так живут, пока не попадут в будку на колесах. Жили, мучились и кончили будкой. Разве это справедливо? Когда я говорил об этом ребятам, они смеялись.

Славка Замылин сказал: нету породы. Он уже тогда все понимал. А мне важность породы была еще не ясна. Бульдог уродлив, нос вздернут, ноги кривые, хвоста нет, зад открытый, а ценится. Как же так?

Мать выкидывала всех котят и собачат, которых я приносил домой. Тогда очередных щенка и котенка я рано-рано притащил с собою в детский сад и пустил под пол малышового павильона. Пол там высокий, почва на уклон. Днем и щенка и котенка выгоняли за изгородь в соседний больничный двор, там их кормили женщины с кухни или те, кто приходил с сумками проведывать больных, а на ночь они залезали в свое подполье.

Когда мать уводила меня из детсада, я все оборачивался, чтобы напоследок их увидеть.

Щенок был большущий, редкой окраски — еле видные коричневатые полосы по гладкой темной шерсти, надо же такому уродиться, а котенок заурядный, грудь и живот белые, а спина не черная и не серая, а так, какого-то несерьезного цвета; они понимали оба, что не лучшей породы, никудышные, но крепкий щенок меньше страдал от своей дворовости, был повеселее, бегал, копал лапами влажную ухоженную землю возле цветов, что-то зарывал или просто некуда было силу девать, а котенок ходил за ним грустный, малюсенький, и ждал, когда щенок набегается, но легче от этой минуты котенку не становилось. Щенок начинал жестоко теребить его, переворачивал с боку на бок, а то и таскать, тот жалобно мяукал, а не уходил. Куда же ему уходить? Как страшно одному под полом ночью! Зато со щенком хорошо: и полает на кого надо, и пригреет, и пожалеет. Идешь домой, они едят с одной бумажки сладкий творог, который дали им, а потом котенок слизывает с морды щенка белые крошки, а тот терпеливо ждет: наверно, совесть мучает, знает, что главная доля досталась ему, а не котенку.

Уже с малых лет я знал о своем праве развиваться полно и всесторонне, знал, что после предварительной жизни меня ждет настоящая радостная судьба.

Насколько помню, я никогда не противился, если мне облегчали дорогу к ней. Мать не могла допустить, чтобы в детском саду на новогоднем утреннике я изображал какую-нибудь неведомую зверушку, и добивалась, чтобы я выступал в заглавной роли. Моя постель стояла вдали от того окна, где дует, она покупала мне игрушки, начиненные техникой, дабы из круга моих младенческих раздумий не выпали законы физики. Она прививала мне любовь к системе. Я должен был ставить игрушки на место, отведенное им раз и навсегда. Она зорко следила за тем, чтобы какой-нибудь луноход после эксплуатации не валялся на боку у порога, и заставляла меня водворять его на персональное место.

На отце лежала обязанность знакомить меня с явлениями живой природы и приучать к физическому труду. Он брал меня с собою на огород, впрочем, вместо того чтобы осведомлять меня о названиях трав, цветов, насекомых, как дома советовала мать, он рыхлил землю, пропалывал грядки, собирал колорадского жука, рассыпал удобрения из тяжелых целлофановых пакетов

и только изредка отвлекался, чтобы убедить скворца не трогать червяков до тех пор, пока белые дробинки удобрений не будут заделаны в землю. Изучать природу по берегам озерца (в него упирались наши грядки) мне приходилось самостоятельно. Я ловил кузнечиков и бабочек, лазил в воду за кувшинками, какие были поближе, наблюдал за жизнью быстрых козявок, довольных своими ничтожными размерами. Иногда отец, влажный от пота, коричневый, веселый, все-таки подходил ко мне.

— Это водомерка. Вроде дворника на воде. Подбирает тех, кто засох. Мелюзга недолго живет.

Я был рад, что конца моей собственной жизни не предвидится, и жалел водяных букашек, живших дни и часы.

Иногда от зависти к отцу я начинал орудовать, как и он, тяжелой тяпкой, но уже спустя минуту-две ждал, не попадется ли мне на глаза повилика, опутавшая картофельный стебель. Тогда тяпку можно было положить вверх спиной и заняться повиликой, которая, несмотря на тонкий нежный стебелек, тоже считалась сорняком. А справившись с повиликой, можно было незаметно вернуться к изучению цветов и насекомых.

Случалось, что мое усердие грозило ущербом для урожая, но мы с отцом сообща принимали нужные меры. Во время сбора огурцов я набрал две пригоршни опупушков, отец был так расстроен, что даже погладил меня по голове, как дурачка, но во мне таилась гордость, и я спросил, можно ли опупушки вновь прирастить. Отец сказал, что можно, если поплотнее прижать их к тем плетям, где желтеют цветы, и заметить такие стебли колышками. Вдвоем мы проделали эту операцию и неделю ждали выходного, чтобы убедиться в результате. Едва в низине заблестело озеро, я обогнал отца и бросился к огуречной делянке.

Возле каждого колышка выросло по большому полосатому огурцу.

Дома я рассказал об этом матери. Она заметила, что отец прививает мне нереалистическое мышление.

Первые пробы силы и ловкости во дворе на разбитой куче песка вновь обнажили несовпадение взглядов родителей. Во время схваток со сверстниками я не проявил способностей, что радовало мать и огорчало отца. «Хорошо, что в нем нет злости, грубая сила — не аргу-

мент», — говорила мать. «Какой же это парень?» — возражал отец.

Порой и он хвалил меня.

Осенью при сборе урожая он поручил мне развести костер и напечь картошки. Первые пять штук полностью сгорели, но отец этого не заметил. Я закатил в огонь новые и раза два пробовал, пока они не поспели. Отец с аппетитом съел их.

Возвращаясь домой, я снова попадал в руки матери.

На строгую домашнюю систему я не роптал. Мать образовывала не только меня, но и отца: диктовала диктанты, составляла обязательный список книг, проверяла, как он усвоил прочитанное, водила в безлюдные музеи, куда порой брала и меня. Это были тоскливые часы, пока я не нашел средство сделать их короче: говорил, что хочу в туалет, и мать сердито предлагала отцу проводить меня. Там отец смотрел в окно на крыши гаражей, а я строил себе рожи в зеркале.

И все-таки моя выучка подвигалась.

Я уже знал алфавит и, по обыкновению, читал по складам первые пять-шесть фраз. Потом книгу брала мать и с выражением дочитывала сказку до конца.

Я жалел зверей, попадавших в беду, и радовался, когда им в конце концов удавалось выпутаться из положения. По лицу матери я видел, что она тоже радуется, но совсем недолго, не то что я, а потом она говорила, что в жизни бывает как раз наоборот.

Если она заканчивала сказку таким примечанием, я просил, чтобы другую сказку читал мне отец. Мать внимательно смотрела мне в глаза, но я хныкал, говорил, что мужским голосом про зверей читать лучше. «Книжка не цирк», — изрекала она и продолжала развивать мои способности до положенного часа.

И тогда я решил одолеть грамоту собственными силами, чтобы оставаться со зверями наедине.

Мать, видя, как я страдаю от египетского труда, пыталась облегчить каторгу, но я зажимал уши и говорил, что буду читать сам.

Отец подытожил:

— Он в тебя.

Если в подготовительную группу приходила комиссия, воспитательница никогда не вызывала меня сама, я должен был поднять руку добровольно, по неодолимому детскому желанию. Женщины из комиссии оставались

довольны моим развитием, но однажды с ними пришел мужчина и, выслушав бегло прочитанное начало сказки, вытащил из портфеля газету и ткнул пальцем в столбец.

— Вот отсюда.

Воспитательница и директор стали белые.

Я не испугался.

— Как стать вра-та-рем? — прочитал я заголовок и перешел к следующей строчке. — С че-го на-чи-на-ли Треть-як и Мыш-кин?

Он забрал у меня газету и бережно положил обратно в портфель.

— Кто тебе больше нравится: Третьяк или Мышкин?

Он считал меня остолопом.

— Конечно, Третьяк, — презрительно сказал я.

Он улыбнулся. Было видно, что он того же мнения. Мы понравились друг другу.

— Кем работают твои родители?

Я сказал, что отец — осмотрщик вагонов, а мать ездит на службу в центр.

Мать видела, что я совсем готов в школу, ей было грустно оттого, что неостановимо бежит время.

— Ты будешь приходить ко мне, когда женишься?

Я сказал, что буду ходить к ней, если разрешит жена.

Отец усмехнулся, довольный.

Что до беспородных щенка и котенка, то они оказались неблагодарными — едва подросли, тотчас канули куда-то.

Скоро, уже в школе, я понял важность породы. Славка, придя в первый, и читать не умел, и всяких таких умных слов не знал, какие я слышал от матери, а стал отличником.

Мать вынуждена была сказать отцу обо мне: «Он в тебя, у него неустойчивое внимание, вы оба витаете...» И она закрутила пальцем в воздухе спираль.

Не витаю ли я и теперь, уклонившись от рассказа о батином юбилее?

Спешу к нему вернуться.

Николай Иванович предложил выпить за родителей, воспитавших многообещающего сына, с одной стороны, любящего труд, а с другой — знания.

Чтобы смысл тоста был понятен, придется пояснить, что после дневной беготни с чемоданчиком по этажам я

дремал на вечернем отделении политеха. Николай Иванович, как шеф, регулярно просматривал зачетку и теперь уведомил гостей о моих почти блестящих оценках, что произвело на Лиду впечатление. А вдруг и в самом деле пророчество беспалого старика по части моего будущего оправдается?

Лида похвалила засол баночных огурцов, что позволило матери рассказать ей о таинстве засолки огурца и в банках, и в бочках.

— А в бочке огурцы — прямо чудо!

Сначала бочку нежно моют теплой водой. Потом запаривают крутым кипятком, куда бросают раскаленный кирпич, и тотчас накрывают старым пальто. Как бурлит, как бушует там вода, как исходит острым паром, как развариваются волокна бочки, как, в конце концов, умиротворенно успокаивается стихия и как пахнет дубом, когда снимешь с бочки пальто!

А потом бочку изнутри скоблят острым ножом. Влажная темная стружка отходит мягко, будто целый год ждала этого прикосновения.

А как пахнут специи — каждая в отдельности, а потом все вместе!

Я рад, что мать еще не объяснила, что огурцы наши собственные, с той делянки, что возле озера. «Они ведут натуральное хозяйство», — сказала бы Лида.

Заботы матери о натуральном хозяйстве не мешают ей думать о моем счастье.

Но я-то знаю, что талоны на обещанное счастье кончились. Чем бы мать могла утешить меня, если бы я поделился с нею своим недоумением?

Не она ли сама твердила, что аттестат зрелости — билет в страну чудес? А разве не тем же самым убаюкивали в классе? А тут еще каждый день на равных с великими: вся их подноготная, ошибки и слабости, все замыслы и победы — все перед тобою, обо всем ты знаешь и судишь, обо всем у тебя свое мнение, ко всему ты примериваешь самого себя, чтобы убедиться, что сам поступил бы куда умнее.

Все пути людские, все ошибки и заблуждения и, наконец, все успехи, к которым шли ощупью, видны тебе, как ясный день, ты извлек из всего уроки, ты привык стоять над всеми, а тебя к делу: штамповать кругляши с двумя дырками, гонять с утра до вечера вдоль фундамента кран, паять сопротивления увечных телевизоров.

И соответственно тебе долю за все это, совсем не ту, на какую ты рассчитывал.

Почему так слитно и вдохновенно звучат мужские голоса, почему мужчины неуловимо родственны? Уж не знают ли они о жизни что-то особенное, неведомое мне?

А мне что-то не хочется петь вместе с ними.

— Геннадий, распахни-ка окно!

Я распахиваю. Тюль надувается парусом. С окружной стал втекать в комнату гул. В субботу он на полтона ниже.

Петь мне вместе с ними не хочется. Я снимаю со стены гитару. Конечно, мне жалко того бродягу, который бежал с Сахалина, но мне сегодня жалко и себя.

И я кое-что спел.

Матери хочется меня утешить, но она не знает как.

Батя тоже сделался грустен. Если бы и сыну, думает он, обрести перпетуум мобиле, тогда бы ребячья смута улеглась.

А много ли ему самому отсыпал благ этот вечный двигатель? Иной раз вытаскиваю из-под шкафа его сердечный блокнот и читаю. Читал и в тот вечер, когда гости отбыли.

Раньше отец держал его на виду и даже разрешал нам туда заглядывать, но после того как при чтении записей мать стала улыбаться, он хоть и не запретил нам впредь листать блокнот, но больше не ждал от нас одобрения своей заветной идеи, да и блокнот с тех пор совсем редко попадался нам на глаза.

С того дня мать записями больше не интересовалась. Ей все было ясно.

Меня тоже не восхищала наивная техническая суть заметок, но продолжало привлекать другое — подробности отношений отца с буксой.

«Хворую буксу можно определить с ходу, еще до остановки вагона. Целая симфония! Если на малой скорости тонкий непрерывный свист, можешь быть уверен — под звонким подшипником кусочек подбивки. Грубый свист или резкий писк — баббитовая заливка раздавлена или совсем выплавилась. Дребезжит буксовая крышка — ищи опасный прокат колеса.

Записываю номер вагона, дохожу до него, когда состав замер, — точно! И радость на душе. Металл говорит, умей только слушать».

Милый батя, вот если бы металл кое-что шепнул

твоему начальству насчет оклада — как бы обрадовалась мать! Да и ты сам.

Впрочем, не подумайте, что эти или сходные практичные мысли мною в то время полностью руководили. Мысли у меня не то что у Лиды, не полновластные хозяева, а скорее друзья мне. Заставить себя поступать по задуманному я могу только тогда, когда привязался к чему-то душой, почувствовал сердечное нетерпение и желание действовать. Тогда я горы сворочу. Оттого и в школе учился неровно.

А тут я уже и тогда подозревал, что никаких ворот в страну чудес нет, а есть узенькая калитка и что впускают в нее с большим-большим разбором и за некоторые заслуги.

После таких плодотворных сомнений я надолго успокаивался и даже становился весел.

Не знаю, была ли довольна мать, когда на склоне того апрельского дня Григорий Иванович, которого я и мать вышли проводить до лестницы, вдруг сказал, остановив на мне усмешливо-умный взгляд:

— Есть дельце, как раз по тебе, всякие там реле и датчики. Загляни к нам. Может, и приглянется работенка.

Из неторопливой речи старика я усек, что Славка нащупал крупную шабашку и уже сбил бригаду. Нужен специалист «по тоненьким проводочкам», как сказал Григорий Иванович, улыбнувшись золотой улыбкой.

Я, однако, не удовлетворился таким общим очерком и постоял с Григорием Ивановичем еще и во дворе, у палисадника. Оказывается, Славка подряжается соорудить на хлебозаводике в районном центре мучной склад без обычных мешков, замыслил снабдить заводик дозировочной аппаратурой: нажал кнопку — и нужная порция муки, раствора соли, дрожжей или там сахара для булочек сама бежит в тестомесильный котел, не сама, понятно, а воздухом ее затягивает, а воздух от мотора. И культура, значит, и людей в цехе далеко меньше, чем теперь.

— Оно как будто и не по твоей части, а все-таки есть и сходство: реле там, датчики.

Славке не бумажки нужны, не чертежи, хотя без них, понятно, толку не будет, ему чтобы пульт готовый висел, а к нему вся подводка из цеха: трубы, провода и проводочки. «Тут, значит, ты и слесарь, и чертежник, и, понятно, изобретатель».

Слушал я Замылина больше из любопытства, а сам думал: «К Славке идти в работники? Чтобы Татьяна видела, как он меня облагодетельствовал? Извините, Григорий Иванович. Да и от слова «шабашка» дурно пахнет».

— Надо подумать, Григорий Иванович, — сказал я.

— Прикинь, прикинь, — согласился он. — Так и нужно. Эта работа не всякому по разумению.

И мы расстались.

Серые стебли высохших цветов на балконе, зябнувшие всю зиму на пронзительном ветру, залезли по самые плечи в пухлую шубу снега и едва шевелят верхушками. Барьер тоже угревается под снежной ватой. Рифленые листы уже не громыхают. Вьюга стихла.

Из гаражей дружно вылезли оранжевые бульдозеры и с ревом ополчились на сугробы. И снег уступил. Жалко грудился в кучи, к которым уже подползал очиститель с огромными лапами.

Мостовая на глазах стала ниже.

По ней, объезжая оранжевых носорогов, покатились осмелевшие грузовики и «Жигулята».

Когда-то я любил провожать взглядом вереницу легких машин, навьюченных летним скарбом. Теперь они безразличны мне. Пусть бегут. Мне-то что.

Мой курсовой проект за вечер сделался упитаннее, боковые мысли ему не повредили. Мать приготовила ужин, но ждет со смены отца. Меня лучше не тревожить: а вдруг потом не сяду за тетрадь? Расположилась в большой комнате чинить на машинке простыню и не удержалась:

— Как там дела у Славки?

В боковушке мне ее хорошо слышно.

— Не знаю.

Я-то знаю. За лето я узнал и о Славке, и о себе, и о том, что вокруг, наверно, больше, чем за все мои прошлые дни. Но я молчу. Все, что я узнал, выглядит пока взвесью, которая не до конца отстоялась. Но она становится все светлее и светлее. Кажется, я ощущаю, как оседают невесомые частицы. И я страшусь поспешных слов.

Необмазанное стекло вздрагивает от ветра, рифленые листы, которыми снаружи завешен балкон, постукивают о стойки, двигатели за окном стали едва слы-

шны, побежали без натуги. Пожалуй, еще не верят вызволению.

— Не знаю, — повторил я больше для себя.

Она молчит. Я знаю, что не верит. Мне все равно.

2

Славка Замылин теперь числился слесарем в том самом детском саду, где я когда-то обретался в роли малолетнего. Он строго следил за тем, чтобы всякая мужская работа производилась там в срок и чтобы изъян в дереве и металле не усугублялся и не потребовал бы в дальнейшем убыточной траты времени и сил, которые он берег для себя.

Отопление Славка заблаговременно осматривал, продувал, холодильники у него деловито гудели, краны не подтекали, электропроводка была в исправности, мармиты на кухне не перегорали, вытертые полы подкрашивались эмалью и к утру высыхали, готовые долго ждать капитального ремонта. Славка первым в поселке сбрасывал с крыши снег и зорко отмечал слабые, ненадежные места, которые, не откладывая, зашпаклевывал, оклеивал мешковиной и прокрашивал. Елка на Новый год у него мигала в трех разных режимах и вращалась на подшипниках вокруг своей оси. Он заботился о том, чтобы вещь не доживала до опасной ветхости и неожиданных происшествий.

За такой догляд Славке разрешалось являться на работу в удобное для него время, и оттого Славку можно было неизменно отыскать в гараже рядом с отцом.

Живут они согласно, пособляют один другому, чтобы прибыльная работа не знала остановки. Но заказы и денежки у них порознь. Не знаю почему. Может быть, отец приучает сына стоять на своих ногах, а может, не по душе Григорию Ивановичу невестка, неласков с нею, не хочет, чтобы трудовая копейка переходила на сына, это ведь все равно что на невестку. Но если ошибка сына грозит престижу фирмы, Григорий Иванович готов помочь Славке и рублем, и отверткой, а сын не прочь пожаловаться ему на жену, правда, без обнажения подробностей.

Славка по части недугов механической тяги прочно огляделся только в трех-четырех марках машин. А за-

работок не хуже отцовского. У Славки дефицитные запчасти, а Григорий Иванович больше полагается на хитроумные новинки, трудится больше головой.

Его не всколыхнешь обидным словом насчет дорогой цены услуг, он пропах славой мастера, держится с достоинством и любому растолкует, почему его дорогая услуга обойдется дешевле самой дешевой, прикинет и срок пробега, и сбереженное горючее, и удобства, и безопасность.

Оброс приватными клиентами, людьми, по большей части положительными, как и он сам. Иные со времени первого знакомства успели заматереть, а то и состариться — дни текут. К нему едут, можно сказать, друзья, о которых Григорий Иванович знает почти все. Они тоже успели его оценить.

Григория Ивановича раздражает неловкая работа, каждый несноровистый жест, ему нельзя угодить. Славка должен тянуться до его мерки, а дотянуться до нее немыслимо, скупее и надежнее манеры, чем у Григория Ивановича, не бывает. Славке невыносимы отцовские улыбочки с деготьком при виде каждого промаха. Не пилить, не мучить Славку Григорий Иванович не может, хотя лямку тянут они каждый по себя. Григорию Ивановичу все мнится, как бы Славка не сбился на халтуру, как бы не пустил об артели дурной слух.

Сорваться на шабашку, подальше от отца, походить в бригадирах не Славкой, а Вячеславом Григорьевичем, вернуться с деньгами, большими и кучными, — его мечта. Уже ездил прошлым летом с отцом, во все вник, чертежи и расчеты скопировал, потайные повороты углядел.

Я вызвал его из гаража, чтобы поговорить накоротке, но он затащил меня в дом, хотел показать свой достаток, а может, поддался грустному чувству, все-таки некогда между нами было приятельство, все-таки чем-то и нужны были друг другу.

Славка не мог без меня обойтись, ему необходимы были мои разглагольствования о прочитанном, он постоянно вышучивал их, вышучивал самым дружеским образом, прямо-таки с любовью ко мне, ведь мы казались неразлучными: жили долго на одной лестничной площадке, сидели за одной партой.

Я теперь думаю, что без меня Славка лишался какого-то дополнительного авторитета, я бы даже сказал, блеска, приобретенного у ребят.

Где я, там как бы невзначай появлялся и он, и скоро уже слышен был хохот. Да я и сам смеялся вместе со всеми. Очень уж складны были его розыгрыши. От одного сочувственного вопроса «Ну как там, Гена, дела в Римской империи?» на лицах ребят расплывалась улыбка.

Он так перелагал мою несколько приподнятую речь на расхожий язык, что не смеяться ребята не могли. И не на что было обидеться. Разве лишь изредка выскажет догадку, что я вношу в тот или иной сюжет улучшения без ведома автора, но отыскать книгу и пробиться к истине он ленился.

Лежишь, бывало, где-нибудь в кустарниках на полдороге домой (разве удержишься, чтобы не полистать книги, только что взятые в деповской библиотеке. Ведь ты еще не знаешь, что там!), вдруг кто-то бежит мимо посадки. И вот уже в твой приютец вныривает Славка, говорит, что случайно заметил светлую безрукавку, а ведь знаю — искал. Наверно, узнал у матери, что я пошел менять книги, вот и ударился по азимуту.

Не опасался ли он, что в книжной жизни происходит нечто такое, что нельзя проглядеть? Полюбопытствует, разведает, попробует на зуб — чепуха собачья. И до следующего свидания с выдуманной жизнью. Он-то на нее времени тратить не будет.

И все-таки если долго нет меня на улице, им овладевало беспокойство: а вдруг у Генки Щепкина что-нибудь новенькое? Сколько голов выходило в люди через эти самые книги! Да и чувствует, что ребятам скучно слушать, как он и еще какой-нибудь любитель толкуют о марках автомобилей.

А для Славки машины — все. В шестнадцать у него уже был трескучий мотоцикл, на котором он мог промчать всякого до лесхоза и обратно. Жутко и радостно: все мелькает, ветер бьет в лицо, только что был тут, а через секунду во-о-он где!

Куда уж мне до Славки со своими повестями, даже улучшенными без ведома автора!

У него была тетрадь с вырезками. Разумная тетрадь. Обо всем. О том, как вбить гвоздь в бетонную стену, чтобы он не успел пикнуть, как склеить, припасовать, припаять одно к другому, как починить полезную в хозяйстве вещь, а если отслужила свой век, как использовать ее в каком-нибудь новом качестве. В конце тетради — оглавление чертежным шрифтом.

Я невпрямую разглядываю Славку: потемневшие носки загрубели от беготни по делам (обувь и халат он кинул в прихожей), рубашка несвежая, руки темные, сбиты, — удивляюсь, когда только они стали такими тяжелыми, разлапистыми.

Он недоверчиво оценивает мою беззаботно-чистую наружность.

Окно распахнуто, тюль сдвинут, ветерок доносит знакомый воздух окружной, смешанный с весенними лесными запахами. Даже дорога не может их одолеть.

— На Дачном теперь благодать, — говорю я.

Славка понимает: я предлагаю отвлечься от моего нерабочего вида.

— Благодать, — нехотя соглашается он.

У него дела брошены, хлопот по горло, а я о Дачном.

— А летом будет еще лучше, — говорю я.

Наконец и он улыбается, показав верхние зубы с узенькой щелочкой. Ладно, дескать, всех дел не переделать, потолкуем.

— А летом будет грибов — гущина! — не унимаюсь я. — Недалеко от той полянки.

Мы знали места, где грибов была тьма. Прямо грибные огороды. И ручей. А в нем отражается кружево деревьев и небо. Качнешь ветки — на небе, какое в воде, уже другой узор. А то легкий ветерок набежит, и вверху на третьем лесном этаже музыка, листочки шелестят, шелестят...

Так бы и лежал и слушал, как, весь упаренный, трудится дятел — только шелуха летит.

— Да, неплохо бы полежать сейчас на той полянке, а ты бы что-нибудь рассказал, — говорит Славка.

Он снова оголяет в улыбке верхние зубы, разделенные надвое просветом.

Мне понятен смысл усмешки. Намек на все те же улучшенные повести. Но ведь и он в своих рассказах не всегда следовал натуре.

Писали сочинение о походе в зоопарк.

Славка творил деловито и строго по плану, недовольно хмурясь, когда я заглядывал к нему в тетрадь. В каждом новом году он собирался переменить парту, но все не менял. Мне же и за этой партой было хорошо.

Славка начал сочинение с общего взгляда на всех зарешеченных и застекленных, которых нам показали, а потом уж капитально остановился на хищниках.

Коварство и свирепость одних, отвага и благородство других — все было отмечено.

У льва и тигра зубы — во! Усы дрожат, глаза сверкают, хвост бьет по бокам.

Славка собирался получить пять баллов за бессовестную выдумку. Но я был начеку.

Я написал, что они и на зверей-то не похожи. Востроносенькая лиса в рыжей всклокоченной шубенке бегает из угла в угол, медведь клянчит дешевые конфеты и глотает их прямо с оберткой, лев валяется на дощатом помосте, как большая куча тряпья.

Классный прочитал лучшее сочинение (как всегда, Славкино), а потом, чтобы вызвать оживление, — и мое.

Кто-то говорит: а ведь правда! И не рычат они, и хвостами не бьют, и запах от них тяжелый. И наперебой стали вспоминать, что и зубы стерты, и глаза тусклые.

Славка обиженно сказал, почему-то обращаясь ко мне:

— А я вот слышал, что один раз рыкнул.

— Да ты, Слава, не убивайся, — говорю. — Мы все слышали, он тебе отдельно рыкнул, для сочинения. И никто тебе оценку не снизит.

Славка знал: чтобы изготовить сочинение на оценку, не надо много читать, нужно уметь собрать его из деталей; двигатель, кузов, колеса — все должно быть на месте. И чтобы не было ошибок. И оценка обеспечена.

Когда шли домой, он до самых сосен не удостоил меня словечком. Помню, за нами увязалась птичья мелюзга. Мы полезли в карманы за семечками. Синица — самая смелая, за нею черноголовка (не знаю, как она по-ученому), а потом поползень. Недоверчивый, сядет не сразу, страдает, глядя, как другие лакомятся, наконец и он садится, самый тяжелый из них, схватит семечко с ладони — и на ветку.

Славка все свои скормил, я приберег.

Вошли в сосны и все молчим.

С веток кап-кап... Оттепель. Будто оркестр. И каждый звук в снегу дырочку оставляет, под каждым деревом — песня. Надо бы сказать об этом, но, вижу, он дуется, я промолчал. Так до сих пор и осталась во мне эта капель невысказанной.

Вдруг катится навстречу что-то маленькое, пуши-

стое. Белка. Хвост на спине лежит, чтобы о сырую дорогу не замочился. Взлетела без опаски по брюкам и пальто ко мне на руки, положил ей орешек, схватила и сразу прятать на дерево. Вернулась — я руку не протягиваю, пусть и отличника не обижает. Она к Славке. И так от него ко мне и обратно. Орехов было у обоих на одну-две минуты.

И тут вместо того, чтобы идти дальше, я ему свинью подложил. У него карман пуст, а у меня еще горсть семечек. Обосновалась белка у меня на ладони и лущит себе. Я тоже не без дела — в свое удовольствие разглядываю зверька. На пушистом хвосте, на длинных остьях бусинки влаги, сама дымчатая, ушки с легкой рыжинкой. На меня как будто и не смотрит, а глаз видит все. Удобно ему смотреть — выпуклый. Чувствую ладонью остренькие холодненькие коготки и поглядываю на Славку искоса.

Стоит обиженный. Жалко мне его сделалось. Отсыпал ему половину того, что осталось.

Наконец и он пришелся ей по душе, села мордочкой прямо к его лицу.

Потом шли уже теснее.

На повороте к березам он покаялся, что лев не рыкнул.

— Но и ты нос не задирай. Они все-таки звери, да еще какие! Попробуй выпусти — такой, как ты, ему на один грызок.

Я согласился...

Мысли о зверях не помогают мне начать разговор. «Ну, пришел, бокоплав, поумнел? — чудится мне во взгляде Славки. — Много ли их, людей беспримесных?» Но вижу, и у него шершаво на душе, как будто соблазняет меня, во что-то нехорошее втягивает.

«А я ведь еще и не пришел к тебе, хоть и сижу напротив, я только случаем воспользовался, чтобы заглянуть сюда, не сдержал любопытства. А вдруг ты и впрямь нашел место, где вращается тайный механизм всеобщей суеты».

Надеялся ли я встретить здесь Татьяну? Не знаю. Заставлял себя не думать о ней.

Прежде чем явиться к Замылиным, я кое-что полистал в библиотеке и поговорил со знающими людьми. Неловко было бы выглядеть в разговоре со Славкой чудаком.

А Славка решил, что я привалил к нему на выучку, и стал хвалиться, какие толковые ребята подобрались в бригаде. У каждого по две-три специальности.

— А зачем, — спрашиваю, — по две-три?

— А вот ты по реле, но ты же и шофер. А вдруг нужно после пяти за раствором съездить? Заводского шофера с собаками не сыщешь, оставил ключи — и до свиданья, а ты сел за руль — и на растворный узел. Или, скажем, проводку тянуть. Зачем брать электрика со стороны? Ты сам ее и навесишь, а деньги останутся в бригаде. Платят-то нам аккордно, твердую сумму за все.

«Молодец, — думаю, — хоть и зубы с проборчиком. Все вычислил».

Оказывается, это было далеко не все, что он вычислил.

— Если у тебя не заладится, то не прогневайся, ничего не получишь. В бригаде платят не за час — за дело. Нет дела, нет денег... А склад останется без автоматики. И такому будут рады, не таскать мешки на спине.

«Я с ребятами, плохо ли, хорошо ли, а свои получим, а ты изобретай и монтируй. Поглядим, какой ты проворный».

Смотрит на меня с усмешкой.

— Полгода проработать и ничего не получить? — спрашиваю. — На каком заводе столь экономны, Слава?

— А там автоматику поручат тому, кто ее сделает. А сделаешь ли ты, вилами по воде писано. Не обижайся, Гена.

— А почему бы тебе не пригласить знающих и умелых?

— Долго искать, а времени нет. А ты рядом.

— Да какой дурак пойдет к вам и в авторы, и в слесаря, и в шоферы, и в электрики, да еще без гарантии, что ему заплатят!

— Я и знал, что ты так ответишь. Это ведь не о делах в Римской империи разглагольствовать, Гена. Или там романсы. «Сядь поближе, гитару настрой...» И голова нужна, и терпение. А потом возьми в расчет: где тебе доверят проект дозировочной аппаратуры составить да еще самому все и смонтировать? В твои-то годы и без диплома? Ты и дипломный-то сделаешь для архива. А тут — пожалуйста! Если голова есть, только и развернуться. Ты хоть понятие о муке имеешь?

— Видёл, — говорю, — когда мать пирожки месит. Белая.

— А зачем же ты пришел?

— А пришел спросить тебя, Слава, для чего ты все это затеял. Мука в силосах слеживается, и силоса на заводе все в насечках, стучат по ним нещадно, встряхивают муку, не бежит она в тестомесилку. А ведь там умные люди.

— Ага, приметил? Та же история и в Клинках, где мы в прошлом году склады поставили. Тоже стучат, собираются вибратор ставить.

— Вибратор не поможет. Нужна автоматика. А она — когда как.

— Из-за этого и решил отказаться?

— Из-за этого и решил спросить тебя: зачем ты меня хотел втянуть в дело, которое и на заводе не выгорело? Чтобы опозорить? Чтобы я полгода вкалывал как остолоп и ничего не получил, а ты бы посмеивался?

— Ты что, спятил? Да разве я знал, что она и на большом заводе не тянет? Да будь она неладна, если с нею только срам. Хорошо, что пришел.

Он говорил правду. Он все-таки на меня рассчитывал. Вообще-то он всегда держал в уме расчет, а я как раз бросаюсь в затею без приглядки.

В седьмом шли кучей после школы. Запуржило, но пережидать не стали, думали, обойдется. Разыгралось не на шутку, у самого носа ничего не видно. До леса целых два километра. Ни колеи, ни столбов. Девчонки — всхлипывать. Я ползал на коленках, ощупывал верхушки старого бурьяна, он всегда лентой у дороги, а Славка приберегал силу и тепло, не хотел распариваться и мочить коленки — еще неизвестно куда выйдем и сколько придется идти. Все-таки дотянули до сосняка. А там не крутит.

Танюшка только в соснах перестала держаться за мой хлястик.

В лесу я оттирал ей шерстяной варежкой маленькие ледяные пальцы, с жалостью дышал на них, держал их в своих ладонях, пока наконец они не отошли. Я любил тогда сдержанного Славку: он не мешал мне заботиться о Танюшке. Такой прекрасной вьюги потом уже никогда не было.

«Генка плюс Танька» — читал всякий на железной двери трансформаторной будки под красной молнией.

«Генка плюс Танька». А вышла она замуж за Славку. И не оплошала, в чем сегодня можно было убедиться. Я готов проситься к ее мужу в бригаду, надеясь прибарахлиться за счет его ума и предприимчивости. Стройка — в самом райцентре, на автобусе из города сорок пять минут в один конец, официальное название — склад бестарного хранения муки на хлебозаводе: шесть большущих баков на опорах, откуда мука самотеком радостно побежит по трубам в тестомесилку.

Мешки там носят на спине женщины, и цеховые, и конторские, даже сама директорша. Неудельные пьяницы, которые прежде притекали за сиюминутным заработком, и те отказались от немеханизированного труда. Схлынули на станцию.

Славку на заводе ждут, как избавителя. Посмотрели в соседнем районе башенки, сваренные его папашей, — благодать!

И хозяйственно возят материалы.

— Отец вываливал раствор в коробку, а я думаю бетонировать прямо с колес, пододвинуть самосвалы к самой арматуре, открыл задний борт и готово, только разравнивай.

Ну как за него Танюшке не выйти замуж!

Она вошла неожиданно.

Славке не понравилось, как мы посмотрели друг на друга.

С выражением «могу и не смотреть» она отвернулась от меня и воздушно опустилась на низенький диван, ступни зарыла в мягкий ковер, голые коленки выгодно наклонила набочок. Я повернул к Славке лицо, искоса глядя на ее шоколадные коленки. Какая-то пасмурная мысль посетила Славку, но он ее не обнародовал.

«Еще откажется от моих услуг».

Я встал. Он посветлел.

— Передать привет бабке Степаниде? — сказал я.

Это был клич, по которому узнавали своих, напоминали один другому о давнем приятельстве.

По дороге в клуб мы повесили на шею козлу бабки Степаниды дощечку с разъяснением, что козел временно ослабел, плохо питается, поэтому коз к нему просьба не водить до первого числа.

В субботу идем на заливчик купаться, бабка перерезает нам дорогу.

— Шабашник ты срамной, мыло нахальное, кутузка по тебе плачет. Жива не буду, пока тебя не посажу.

Преступление было коллективным, а бабкин гнев обратился против одного Славки, как самого деловитого среди нас.

— За козла-то и живого человека сажать? А еще богу молишься.

— Жива не буду...

— Тогда мне придется скорее сесть, чтобы ты жива не была.

Новый приступ крика.

Об изъяне козла было известно уже всему поселку. Встречая бабку, все ухмылялись.

А то ляжет бабка Степанида днем после ругани с соседями отдохнуть, а Славка научит слабоумного Гаврюшу пройти под ее окнами строевым шагом. Гаврюша всегда на ремне через плечо носит железную канистру вместо барабана. Подхвалят его, он и рад. Как наддаст в канистру двумя палочками и пошел печатать шаг. А то гудок изобразит. Поезда мимо поселка через каждые десять минут пробегают — научился, так что если изобразит, кажется, поезд прямо на тебя наезжает.

Бабка Степанида не проходила мимо, чтобы не поддеть Славку.

— Цыплока-то у меня не ты ли смыл?

— А козел у тебя в целости? Ну поцелуй его...

Теперь лицо у Славки излучало что-то давнее, туманное.

— А куда ты спешишь? Может, пивка по бутылочке?

Он взглядом показал на бар с охлаждением, отделанный орехом.

Я до отказа повернулся к нему, чтобы не видеть ее коленок. А почему бы не выпить по бутылочке?

Она уже поняла, что я не откажусь, и старалась выглядеть равнодушной. Я пожал плечами в знак того, что если хозяин просит, какой разговор.

Славка взглянул на нее и легонько двинул пальцем в сторону бара. Она поднялась у меня за спиной, я слышал ее движения, и подошла к погребку. Сколько там бутылок с ненашими наклейками! Наверно, для самых тонких ценителей. Даже опечатаны, будто маленькие сейфы, и печати на ниточках висят. И когда он успел всего этого вкусить? Давно ли мы дрались с лес-

хозовскими ватага на ватагу, давно ли бренчали на гитарах и орали песни на весь Дачный?

Раскинула на стол скатерть, на нее прозрачную клеенку. Поставила перед каждым хрусталь. Бутылки были холодные, запотевшие. Я даже проглотил слюну.

«То-то, чудик. Рыкнул или не рыкнул, кому это нужно?»

Он смотрел на меня с покровительственной усмешкой, которую я вполне заслужил.

Лоб крутой, взгляд человека уверенного и твердого, знающего, что ему нужно. Теперь Танюшка видела, кто из нас двоих на что способен. В школе она мечтала о сцене. И голос, и легкая натура, и миленькая. Ни один диско без нее не обходился. Я ишачил и с аппаратурой, и со светом, и с пленками. Пока гонял технику, с Танюшкой наперебой танцевали другие. Я опасался молоденьких преподавателей, а Славку ни во что не ставил. Казалось, какая они пара?

Сейчас она в заводском клубе заправляет деповскими артистами и вращается в театральных кругах. Не то, конечно, о чем мечталось, но хоть около.

Выпили пенистого, холодного, и наступило телесное благорасположение.

— Ансамбль привалил на гастроли исключительный. Тащу его, а он ни с места, корни пустил в гараже и уже листочки выкидывает. А теперь вот грозится в деревеньку отъехать, а я в принципе опять одна.

Такой веселый грудной голос, такой блеск глаз.

Если поставить на зуб коронку, щель в заборчике у Славки зашьется. Не эта ли щелочка сыграла со мной злую шутку? Не она ли убавила в моих глазах Славкины задатки, не она ли скрадывала ширину житейских просторов, которые он собирался штурмовать? Не она ли и теперь заставляет меня смотреть на него с толикой снисходительности, хотя у Славки и теперь есть все, чего у меня и к занавесу не будет? Почему в школе я не посоветовал ему поставить на зуб коронку и глупо любовался изъяном?

Выражение у Славки довольное, враг повержен и просит мира, но Танюшке приятно показать мне, что она этого не замечает, что дело мое не безнадежно, что у меня большие резервы.

— Политех-то не забросил? — спрашивает она.

— Подползаю к диплому.

Но Славка начеку.

— Какой у тебя средний сейчас?

— Сто двадцать.

— А после диплома?

— Сначала сто десять, а там как сложится.

«У тебя-то сложится? Ты только взгляни на себя. Там надо и за себя и за других думать, мил человек».

Мой ответный взгляд выражает полное признание Славкиной правоты. И все-таки ему не по душе, что я весел и самонадеян, словно у меня в запасе что-то неведомое. А вдруг я не выкладываю все карты?

Внимательно смотрит мне в лицо. Нет, меня он изучил. Никакого запасного полка в роще не упрятал. У таких, как я, запасных полков не бывает.

А я все самонадеянно улыбаюсь.

— Давайте стукнемся, чтобы услышать звон, у каждого рисунка звук особенный, — говорит она. Я, как и Татьяна, держу хрусталь у самого донышка, чтобы звук был чище. Славка облапил бокал. Сдвигаем посудины. Наши с Татьяной звенят, Славкин гукает.

Налитого ему хватает на два-три глотка, потом сидит и смотрит, как мы потягиваем из своих. И хочется налить еще, и неловко.

И вдруг он приоткрывает в усмешке краешек верхних зубов. Знакомое выражение. По нему я встарь догадывался, что Славка готов позабавить слушателей.

Раньше союзником Славки было мое любопытство, заставлявшее меня проглатывать ненужные книги. Славка выслеживал его, а то и выманивал, если оно долго не высовывалось наружу. Что же теперь? Мы так долго обходились при встречах коротким «здравствуй», что источник для дружеских шаржей должен был бы давно иссякнуть.

Оказывается, в памяти Славки таился неприкосновенный запас по части амазонок, живших до нашей эры на Дону, в Ростовской области; все они были незамужние и ловкие, скакали на конях с копьями и мечами, а если какая выходила замуж, то ее из амазонок вычеркивали. У них были руки и плечи — во! Если такая выйдет замуж, то сразу наладит в палатке матриархат, врежет мужу по скуле, и он навсегда косоротый.

Танюшка улыбается во все свое пригожее личико, не забывая улыбаться красиво, улыбается не рассказу, а чему-то своему.

И я уже забываю пожалеть осмеянных воительниц древности. Я смотрю, как смеется Татьяна.

— А ты знаешь, Слава, я согласен поработать на твоих условиях и попробую... Только в моем сарайчике с трубами не развернуться, кое-как мотоцикл закатываем.

— Ты думаешь, мука все-таки побежит?

— Я тебе сказал, что попробую. Не побежит — я же ничего не получу. Ты не в убытке. Я сказал: попробую.

— Вот тогда бы мы преподнесли отцу сюрприз! — воскликнул он с неподдельным оживлением. — Работай у меня. Я со своим «Жигуленком» буду там, при силосах, без машины там как без рук. Так что будешь вдвоем с моим папашкой. Гни, свинчивай, развинчивай, нарезай. Станок без дела стоит. Инструмент всякий под рукой. Сварка. Что твоей душеньке угодно. Только чтобы она побежала.

«Да и Григорий Иванович рядом, наставит насчет труб, а по реле я уж сам», — весело думаю, глядя на Танюшку.

В комнату вошел Антошка. В гараже ему надоело. Сразу ко мне.

— Дядя Гена, а ты мне голубят покажешь?

У меня на балконе вывелись голуби.

— Приходи.

— А они не улетят? Они под коробкой?

— Под коробкой.

В мать — улыбчивый, гибкий, с хорошеньким личиком и на редкость ровными и плотными зубами, только лоб неуловимо выпуклый.

— А видик ты можешь сделать, чтобы у дятла была красная голова?

— Цветной дорого, Антон, — говорю я для Славки и беспечно улыбаюсь. — Голову будем у живого смотреть.

Видеомагнитофон у меня черно-белый.

Славке надоела моя улыбка.

— Ну я пойду, у меня мотор в рассыпушках, — сказал он.

Я поднялся.

Но он хотел видеть, как мы с Татьяной посмотрим друг на друга. Я повернулся к ней боком, она ко мне спиной.

Отец вполз в девятом вечера, иззябший, изнуренный, но довольный своей изнуренностью, как победой, довольный тем, что впереди двое свободных суток.

Я расшнуровываю отцу ботинки. Привык с детства. При посторонних стесняюсь, уж очень я длинный, а когда чужих нет, почему не помочь? Ботинки задубенели, шнурки смерзлись, верхние носки сырые, зато шерстяные под ними — тепленькие.

Мать уже ставила греть ужин.

Он пошел переодеваться, но замер там, никакого шуршанья, значит, сразу вклюнулся в блокнот, пока в ушах стучат колеса.

Недавно ездил на узловую показывать, как надо любить буксу. Созвали осмотрщиков, те поглядывают на него, как на чудака. Ватник на нем замасленный и прочная казенная роба — не голова. Думали, что он тянучку начнет им рассказывать, а он повел их к составу. Одного спросит, другого — не видят. А он окинет взглядом вагон: поднимайте, сильный нагрев подшипника. А на глаз ничего не видно. Он всего и тронул раз крючком по краю заливки, глаз неймет, а рука почувствовала, как подался крючок в сторону и царапнул по неровности, баббит уже выступил, где-то на перегоне букса загорится, а то и шейка оси полетит.

«А вот здесь в баббите откол».

Все пожимают плечами. А что пожимать, если смазка выступает ровным слоем и потек одной толщины.

«Может, не откол, а трещина?» — спрашивают.

«Ну уж извините. Из трещины струйка бежит тонкая».

«А в местах раковин?»

«А там полосою, ширина ее по ширине раковины. Можете измерить».

С ним ходило и начальство ихнее. Глядят на него: надо же! И не подумаешь. Не один, наверно, прикинул: а на кой леший незаметное выявлять? Когда станет заметным, пусть на следующей станции отцепляют вагон. А то прокрутишься — и графики поломаешь, и премии не видать. Болеть за соседа?

Возвращается из спаленки (она в другой боковушке, в той, что окнами во двор), переоделся в застиранный шерстяной костюм, штопанный-перештопанный, доживающий последнюю зиму, натянул толстые, словно унты, носки в красно-белых узорах, можно ходить без шле-

панцев, ноги блаженствуют, и сел на табуретку у стола.

— Метель метелью, а товарняки товарняками, — говорит он с плутоватым выражением.

— Тебя похвали, ты день и ночь за спасибо будешь бегать от головы до хвоста.

— Не от головы до хвоста, а от середины к голове. Я сегодня с напарником бегал.

— Для кого ты гонишь эти составы? — с раздражением спросила мать. — Для его дружков? — кивает в мою сторону. — У них и так две машины.

Поставила перед отцом борщ. Всякий раз поражаюсь, как можно есть такой горячий.

— Ладно, допустим, — продолжала она. Что уж она хотела допустить, неизвестно. — Кто поверит в твою смекалку, видя, какой половичок я трясу по утрам? А если показать, какую ветошь ты натягиваешь после смены?

Она разъясняет, что у нас платят по труду, а если тебе как следует не платят, значит, и труд твой мартышкин.

Отец улыбается.

Аппетит у него волчий, косточки обгладываются дочиста, хрящики перетираются.

За первой тарелкой последовала вторая, потом жареная рыба с картошкой и огурцами из бочки, потом грушевый компот — полная глиняная (на языке мамы— керамическая) кружка.

— Мело так, что колес не было видно.

Она хотела что-то сказать, но передумала.

Нижняя губа дрогнула и твердо прижалась к верхней.

За это, встав, батя поцеловал ее в сердитую щеку.

— Курсовой движется? — спросил он, поворачиваясь ко мне.

— По расписанию.

Мама стала убирать со стола посуду.

Она запрещает ему пользоваться душем на станции, когда на дворе ветрено, — придется выходить потом на улицу распаренным; если бы она ввела полный запрет на вечернее мытье, он был бы ей благодарен. На ванную после смены уже не хватает сил. Но когда мать рядом, никаких поблажек ждать не приходится.

Пока он плескался, я вытащил из-под шкафа блокнотик.

«Черная букса зимой — это крик о помощи. Здоровая букса должна быть покрыта инеем или снегом. Нет снега — букса грелась и снег растаял. Но бывает и фокус: букса уже успела остыть, пока я шел к ней, и не только остыла, но и снегом приоделась. Нет, милая, а сосульки-то тебя выдают, сосульки-то никуда не денешь, снег-то в пути таял!»

Мать недавно сказала, что он как маленькая птичка, та самая, что кормит огромного кукушонка, из сил выбивается, уже голоска не хватает пищать, а все носит и носит.

3

Утром батя мог бы и вылежаться, но, как только мать направила стопы к электричке, он вскочил, наспех позавтракал и отбыл. Невиданное дело: захватил с собою блокнот, а мать-то думает, что он уже донашивает свою мечту о вечном двигателе.

А я опять один.

У меня десять дней без содержания.

Теперь уже девять. Снова раскидываю перед собой курсовой, опять смотрю вниз, где бегут, рычат, рокочут двигатели. Они уже набрали силу, и мне остается только утешать себя злорадной мыслью, что за окном — простейшее механическое перемещение вещества, что настоящая жизнь укрыта внутри человека, в сокровенной тишине.

В назидание веществу за окном я расчленяю материю на страницах курсового проекта и с удовольствием отмечаю, как тает во мне подозрение, будто изделие помыкает мастером.

Я не одергиваю себя за то, что «растекаюсь»: все какое-то развлечение.

Синица за окном поглядывает на меня с высоты форточки. Я нахожусь в эн-мерном пространстве, в окружении предметов другого мира. Но я виден ей, она даже знает, что я смотрю на нее. Знает ли она, что у нее белые щечки? Но она должна делать свое дело. Она делает его нервно, втыкает острый клювик в замерзшее сало, вывешенное матерью в сетке за окно. Ветер уносит малюсенькие лоскутки газеты, синица попадает в цель с большим разбросом. Она всегда в дви-

жении. И это хорошо. Когда в движении, нет места длинным-длинным мыслям. А только короткие, для короткого отрезка пути. Но я-то не движусь, я сижу, и мне некуда деться от длинных мыслей.

Моя почти полная неподвижность и внимательный взгляд пугают синицу. Лучше бы я двигался, тогда бы она знала, что́ ее ждет. И она внезапно улетает, не совладав с накопленным беспокойством.

Спустя день или два после моих переговоров со Славкой Татьяна подвезла меня в город, — я спешил в деканат.

— Говорят, у тебя невеста из ученых?

— Дочка доцента.

— Где ты ее отхватил?

— Из-за того четыре года и хожу с баульчиком по району. Все выбираю и вот выбрал. А так-то разве найдешь.

— Отец у нее молодой?

— Молодой.

— Тогда не скоро ты интереса дождешься.

— Как раз и нет. Пусть-ка поработает на молодых, пока не стар, пока при должности. Зачем гибнуть человеку средних лет?

— Заливаешь ты все. Прогонит она тебя.

— Может, и прогонит... Ты бы сбросила газ, а то я не доживу до этой минуты, распылюсь в атомы. Я ведь знаю, что ты лихо ездишь... Славка-то скоро отправится?

— Проинформировать при отъезде?

— Я не о том.

— И я не о том.

— Подрули. Давай на ондатру посмотрим,— говорю ей.

Остановились у пруда. На радость зевак прошлым летом сюда выпустили пару. Подошли. Под ногами похрустывает влажная после дождя гранитная крошка. Две ондатры в разных местах пруда плавают в свое удовольствие, оставляя следы на воде и на душе.

Недавно сосны стояли серые, отяжелевшие под грузом круглых гнетущих капель, тоскливо ждали солнца, а сейчас освобожденно покачиваются на верховом ветерке, красуясь стройными золотистыми станами; вершины их в окружении небесной синевы, а внизу мелкая жизнь: ондатры, бабочки, мы с Татьяной.

— Тут, наверно, сторож есть?

— Говорят, есть. Да они и сами не торопятся стать шапками.

— Она красивая? Лучше меня?

Ветерок играет обдуманным локоном.

— Серьезная.

— Хорошо. Она возьмет тебя в руки. Не будешь попусту тратить время на разглядывание крыс. Поехали.

Танюшка спрашивает, кто лучше, Лидия или она? Смешная. Разве можно быть лучше или хуже? Теперь-то после бесед с доцентом Светловым я знаю — у каждого свое. Каждый в этом вероятностном мире, входя во множество систем, остается неразгаданным и самоценным и долго ждет случайности, которая приведет его к моменту истины.

Общение с доцентами полезно.

4

Первый луч в поселке не виден. Для работы в дневную смену светило долго ползет от земли вверх, пока не взберется на каменные вершины и не повиснет над крышами, трубами, шпилями, кранами.

Отец поглядывает на него весело, бреется тщательно, с зеркальцем, не в пример прежним дням, когда ему бывало достаточно побриться на ощупь. Он надевает новый костюм, уже вышедший из моды от долгого бережения, завязывает, как всегда, несколько вбок узел галстука, недовольно оценивает итог и молча подает галстук мне.

Я перевязываю узел равнобедренным треугольником, отец, приподняв белый воротник, захлестывает галстук на жилистой шее, оправляет рубашку. Теперь совсем иное дело, теперь он чуточку неожиданный, не столько одеждой, сколько небудничным выражением.

Он идет фотографироваться.

Мать спрашивает, куда на этот раз его собираются пришпилить. Ответ «не знаю» лишил ее случая разъяснить факт с точки зрения ближайшей пользы нашему семейству. Сама она вечером убывает в Москву с важными для завода бумагами. За навык действовать по обстоятельствам ее посылают в такие поездки чаще других.

Зимними командировками она тяготится.

«Ну в чем я поеду? Вот в этом?» — и трясет перед лицом бати своим вытертым зимним пальто.

Отец по-детски улыбается.

Потом я надолго остаюсь дома один. И после того как закругляю раздел о чудесах акустики, достигаемых с помощью колонок из мраморных плит, вытаскиваю из-под шкафа батину записную книжку, чтобы поискать в ней причину живости его взгляда.

И мне попался листок, исписанный чужими ровными строчками.

Отца подвигали от случайных лирических заметок в сторону системности и доказательности, наметили пять разделов и множество подразделов (одних позиций осмотра тележки — семь!). Наука.

А он все гнул свое.

«Плавность походки вагона радует, припрыжка и галоп тележек должны пугать».

Между строками бегло посторонней рукой:

«Необрессоренная букса полностью воспринимает усилия, возникающие в результате колебаний».

Вот как надо! На техническом диалекте.

«Если ты улавливаешь запах горелой шерсти, не ищи очага в контейнере с драпом или сукном. Это греется букса».

«Меняют раз за разом подшипники, все больше и больше меловых отметок на досках вагона, а где же сама причина? Почему так часты замены? Да ведь там либо конусность шейки, либо перегруз вагона, либо неравномерный навал груза — где густо, а где пусто».

«Самое гадкое — зимняя оттепель с дождем. Льет и с неба, и с крыши — и все за воротник».

Ветер срезает дымные клубы прямо над трубами и расстилает их гривами по белым кровлям. Надо ли выдумывать себя, нужно ли воображать себя творцом, Фарадеем? Трудно смириться с тем, что ты не рожден летать, но не лучше ли заглянуть правде в глаза, не лучше ли отдаться взаправдашней жизни, единственной и неповторимой, чем жить выдуманной?

«Ну повисишь ты за стеклом, посмотрят на тебя незнакомые люди, пока не пожелтеет от солнца и не покоробится от дождей карточка, а дальше-то что?» — спрашивает его каждый раз мать.

Возвращаю блокнот на место.

Я обнаружил наконец письменное свидетельство того, что в деле раскручивания вечного двигателя у отца есть союзник, а может быть, и вдохновитель — Полозов.

Дружба их последовала за дорожно-транспортным происшествием на окружной дороге. Или, если быть совсем точным, после того, как в положенный срок переломы у отца срослись и он стал ходить без палочки.

Но бегать, как раньше, вдоль составов он еще не мог. Безделье тяготило его, друзья из ПТО навещали отца редко и говорили в бодрых тонах, как с ребенком. Отец чувствовал себя покинутым, не мог дождаться, когда закроют больничный, клял дорогу и лихача, чуть было не отнявшего у него специальность и заработок.

Разбор затянулся, а злоумышленник жил дома, хотя, как толковали знающие люди, давно должен был натирать мозоли на стройке химии. Если жигулист не собирался скрыться с места, прикидывал отец, то почему он подался мимо, а возвратился, если верить протоколу, только через пятнадцать минут, когда отец еле теплился и не чувствовал даже, как его поднимают. Наверно, его настиг кто-то из ехавших позади и пригрозил милицией. Вот он и вернулся. А в показаниях везде — сам, сам.

Следователь говорил отцу: не такое уж это серьезное дело, может, простил бы водителя?

— Вот это ловко! — возмущался батя. Кто он сейчас? Надомник с сеткой? Ходит за молоком и хлебом и передачи про зверюшек включает. Ему ли с сеткой ходить, когда из ПТО его ждут не дождутся? Только теперь поняли, какого он класса осмотрщик и от скольких ЧП избавил станцию.

Но больше отца возмущалась мать. Она добилась, чтобы дело передали из милиции в прокуратуру.

Новый следователь, Василий Васильевич, чтобы до тонкости войти в суть, вместе с отцом отправился на место.

Сбили отца при въезде в город в зоне многоэтажных домов. К торцу одного из них и был на схеме привязан участок, где случилось несчастье. Василий Васильевич захватил с собою чертеж и скрупулезно проверил его достоверность.

От шоссе дом стоял в стороне, движение и днем здесь было редким, а вечером можно было пролежать в ожидании помощи и час, и больше. Улица была крайняя,

за нею сразу начиналось поле. Новый следователь считал, что отца спасла чистая случайность.

Батя указал низинку между двумя столбами, где он лежал. Следователь заснял общий вид, чтобы суд мог убедиться, что улица пустынна и помощи тут неоткуда ждать.

Потом подошли к самой низинке, где отец упал на асфальт вместе с велосипедом, задетый «Жигулями» за педаль.

Тогда отец еще не был владельцем мотоцикла и не столь часто уединялся с блокнотом. Мотоцикл пришел на смену покалеченному велосипеду. Кое-какие резервы нашлись у матери, немного заняли у Григория Ивановича. Разве мать ожидала, что покупает отцу собеседника?

По проезжей части вдоль тротуара тянулась длинная полоса застарелой кочковатой грязи. Она сужала дорогу. Василий Васильевич подал отцу один конец рулетки и замерил ширину полосы.

Сто пять сантиметров.

Выходит, отец отдалился от тротуара на пять сантиметров дальше. Это уже против установлений.

— Так, что же, мне следовало ехать по этим кочкам? — возмутился батя.

— Зачем? Свернуть в сторону и подождать.

— Значит, нарушил правила я, а не он? Да вы посмотрите, у него вся дорога была свободная. Зачем же ехать ко мне впритирку? — негодовал батя.

— Правила есть правила. Велосипедист должен следовать не далее метра от тротуара. Тогда он чист.

— Выходит, шофер ни при чем?

— А вот этого я не сказал. Вы за свое нарушение едва не поплатились жизнью и до сих пор лечитесь, а он за свое? Где был он?

«Ну и доку же я откопал себе», — восхищался дома отец.

Василий Васильевич сделал снимок уходящей вдаль дороги и устья улицы, куда скрылся шофер. Ему ничто не мешало остановиться. Никакого запрета, никакого знака. А в объяснении: «Я отлучился, чтобы развернуться по правилам и подъехать к нему с другой стороны».

Никакого знака. Скрылся, подлец!

«Если бы этот сразу взялся за дело, был бы совсем другой коленкор». — говорил дома отец. Обиднее всего, что шофер даже не извинился. Пришел бы, про-

хвост, покаялся, заплатил бы за разбитый велосипед — все-таки с моторчиком. Тоже денег стоит. Возместил бы все, что на лекарства пошло, на передачи, что по больничному потеряно, может, все по-иному бы и обернулось. Охотников таскаться по судам тоже немного. А этот как воды в рот набрал.

Батя рассказывал дома, как он лежал на боку, держа вытянутой ногу. Ее бы следовало согнуть, тогда бы кровь сочилась медленнее, но как только он сгибал колено, его пронзала нестерпимая боль, и он опять распрямлял ногу. Он зажимал рану рукой, но липкая кровь сочилась между пальцами. Боль в груди делала нестерпимым каждый вдох. Потом она стала уходить. «Это хорошо», — думал он. Как раз в эту минуту он и потерял сознание.

Об остальном я услышал уже осенью из уст этого самого «подлеца». Он приехал помочь отцу перевезти с огорода картошку.

Той осенью мы с батей впервые выкапывали картошку лопатами. Конягу в лесхозе отвели на мясокомбинат. Соха ржавела возле конюшни. Непривычный замещать лошадь, я был рад покою и заснул у костра на сухой ботве, пока они ссыпали урожай в мешки.

Проснулся я от громких голосов. Бывшие участники дорожной истории, расстелив брезент, подкреплялись в ожидании самосвала, который должен был заскочить за нами порожняком после разгрузки на станции. За шофера Полозов, тот самый «подлец», ручался. На банку я не претендовал, а закусить был не прочь, но понял, что в качестве третьего я уже не услышу того, что предназначалось для двоих. Толковал Полозов, а батя воодушевлял его сочувственными междометиями, в искренности которых нельзя было сомневаться.

Если бы отец слушал его не столь участливо, Полозов вряд ли покаялся бы в своей бесхарактерности, вряд ли ударился бы в прошлое. А когда перед тобою такой слушатель, то не углубиться было нельзя. Полозов давно понял, что семейная жизнь его не будет счастливой. Он говорил себе, что нельзя вот так решительно рвать семейные узы, что жена, возможно, одумается, но как бы вскользь обронил, что побаивался за должность. Началась бы проработка, растаяла бы надежда на продвижение. Потом родился сын. Теперь о разводе и подумать было страшно. У нее одно платье за другим, у

него затертый до блеска пиджак. Дошло до того, что шеф сказал: « Не помочь ли тебе выбрать костюм? Вот получим квартальную — и прямо с работы».

Одно хорошо — можно задержаться на службе. А тут вскоре стали нарезать участки, он тоже взял, насадил деревца и кустики, у каждого саженца свой характер, любопытно с ними, как малые дети. Супруга одно выдернула, другое вкопала. Он не стал спорить.

Потом решили купить «Жигули». Торопил время, говорил себе, что с покупкой машины явятся новые интересы и заботы. Батя спросил: явились ли? Полозов только махнул рукой.

В один из выходных собрался с сыном Павликом на рыбалку, но неприметно ускользнуть из дому не удалось, последовала сцена с криками, слезами ,с пятнадцатью послескандальными каплями валерьянки, которые в таких случаях обыкновенно выпивала жена.

Полозов отправился в гараж, а оттуда в сад.

В то утро; не найдя его в гараже, супруга, по обыкновению, должна была приехать в сад на такси. Она не успокаивалась до тех пор, пока они вместе не возвращались домой. Если бы можно было, она вообще бы не разрешала ему бывать в саду. «Опять с этой вертихвосткой через забор будешь любезничать?»

Муж соседки разбился три года назад на машине, но она не только не бросила участок, а ушла в него, как в избавление от невзгод. Сад ее был всегда ухожен, побелен, обрезан, дорожки посыпаны песком, сорняки вычищены, скворечник всегда заселен, а в зарослях у забора жил соловей.

Раза два соседка просила Полозова привить ей деревья, и с этого времени жена возненавидела ее. Мягкий негромкий голос, полумальчишеская прическа и худенькая фигурка, обтянутая выгоревшим трико, вызывали у жены раздражение.

Если Полозов задумывался, жена звала его к себе по какому-нибудь пустяку.

«Нечего сиротой казанской прикидываться».

Соседка принесла ей как-то миску ранней морели (ни у кого во всем квартале вишен не было). Жена высыпала их в помойное ведро, как только за соседкой затворилась калитка.

Когда Полозов приехал в сад, соседка (ее звали

Ольга Федоровна) собиралась красить большущий бак для воды.

Нужно было положить его набок, чтобы слить остатки воды, высушить, зачистить ржавчину щеткой. Худеньким плечом она пыталась наклонить тяжелую махину, стоявшую на кирпичах. Эти попытки продолжались, наверное, давно, ее трико было в коричневой ржавчине, а сама она выглядела измученной.

Наконец она прислонилась к баку, размазывая слезы грязным кулачком.

Полозов перемахнул через изгородь, подошел к ней. Она стояла в прежней позе. Снизу вверх взглянула на Полозова. Неожиданно он погладил ее большой рукой по волосам. Так они стояли с минуту. Потом он мягко отодвинул ее от бака и толчком повалил бак на землю. Красная вода стала впитываться в рыхлый чернозем.

— Хотите я принесу вам зеленой краски? — спросил он.

— Уже не хочу. Кому все это нужно и для чего? — прошептала она.

Полозов посмотрел в ее заплаканные глаза.

— Поедемте в лес за цветами? — сказал он.

Какой это был день! Лучший день в его жизни. Когда они возвращались в город, у него перед глазами качались голубые озера цветов.

«Трава бессмертна, — вспоминал он ее слова. — Меняются только стебли. Нарвем букет, траве не повредит».

Он высадил ее у бензоколонки, а сам свернул на крайнюю улицу и поехал в гараж.

«Трава бессмертна», — звучало в ушах, и дорога ложилась под колеса независимо от его сознания. Мелькали дома, столбы, перекрестки. «Трава бессмертна». Машина мчалась, готовая оторваться от асфальта.

Вдруг послышался какой-то скрежет по обшивке. Повернул голову — справа падал велосипедист.

«Я сбил его».

Полозов мчался все с той же скоростью. Ни впереди, ни сзади машин не было. Пешеходов тоже.

Через восемь — десять минут он был в глубине квартала среди непрерывного потока машин.

«Ничего, полежит, подымется».

Но дальше он уже ехать не мог, свернул к тротуару и остановился. Не было сил ни ехать вперед, ни вер-

нуться назад. Если он подберет мужчину и отвезет в больницу, там запишут номер, фамилию — и всему конец. Жди милицию.

«Давай, давай, возвращайся. За это тебя как раз и посадят, за то самое, что вернешься, за благородство. Поедешь долбить вечную мерзлоту. Давай возвращайся, спасай какого-нибудь пьяницу».

Рядом на сиденье лежали былинки увядших цветов.

«Трава бессмертна». Он взял голубой цветок, растер между пальцами.

Нужна ли была эта поездка? Смахнул цветы на пол.

«Нет, она явилась, чтобы мне было известно, какой я подлец. Будь она рядом, разве я уехал бы?»

Он положил руку на головку рычага. «А может, уже не к чему возвращаться? Может, он уже умер?»

Секунду он смотрел перед собою, потом рванул с места, отчаянно развернулся перед самым носом автобуса и, не думая уже ни о чем, ринулся обратно, туда, где лежал велосипедист.

Остальное мне было давно известно и успело выболеть даже у матери. Их посадили в кабинете друг против друга. Полозов держался с достоинством, столь неуместным в его положении. Он говорил, скорее обращаясь к самому себе. Следователь и отец нетерпеливо ждали минуты, когда Полозов дойдет до главного: до того, почему он уехал с места, и с удовольствием отметили, что он по-прежнему говорит неправду.

— Так вы утверждаете, что вам требовалось сделать после несчастного случая разворот, чтобы подъехать к потерпевшему с безопасной стороны и не создавать на дороге аварийной обстановки? — спросил Василий Васильевич.

— А взгляните-ка сюда, вот на эти снимки. Вы видите, что на месте нет никаких ограничительных знаков? Вы видите, что на этой улице почти нет движения? Почему вы уехали с места происшествия? Где вы были пятнадцать минут? Отвечайте.

Он, что называется, вкогтился в Полозова, но тот и не собирался отводить взгляд.

— Я ждал этого вопроса, но его не задавали, а сам я не имел мужества рассказать о своей слабости. О том, как я колебался, возвращаться ли мне на место и спасать человека от гибели или спокойно уехать. Ведь меня никто не видел, улица эта всегда пустынна. Мне

хотелось выглядеть перед вами и перед ним порядочным и благородным, хотелось, чтобы все считали, что я без колебаний вернулся на место и оказал пострадавшему помощь. А я... я размышлял, спасать мне человека или нет.

— Тебя и судят, потому что вернулся, — послышалось в приоткрытую дверь.

«Как она оказалась здесь?» — подумал Полозов. Он ей ничего не говорил до последней минуты. Наверное, обшаривая по привычке его карманы, супруга нашла повестку.

Он не повернул к ней головы. Василий Васильевич тотчас подошел и закрыл дверь.

— Мне было бы трудно отказаться ото всего: от должности, от дома, от привычной жизни и ехать куда-то... Ну, сами понимаете. Но я решился.

«Он меня спас, — подумал отец, — а я против него вот этого с фотоаппаратом. Здорово получилось».

— А почему же ты ни разу ко мне в больницу или домой не пришел, чудак человек? Поговорили бы по душам, — неожиданно сказал батя, самовольно врезаясь в строгий распорядок очной ставки.

— Я не хотел, чтобы думали, что я собираюсь подкупить вас или склонить к жалости. Мне казалось, что вам неприятно будет меня видеть.

Василий Васильевич, хоть и сохранял строгий вид, а мужскому разговору не препятствовал и даже как будто поощрял его своей улыбкой: а вы, дескать, и без меня обходитесь? Посмотрим, посмотрим.

— А какая там жалость? Я же сам виноват, а не ты. Это я вильнул на велосипеде, там же кочки.

— Позвольте, позвольте, потерпевший, так же нельзя. Вам-то все ясно, а надо бы дождаться и моих вопросов, — с укоризной, может быть, и не вполне искренней, сказал Василий Васильевич.

— А чего их попусту задавать? Только время тратить. Я же на пять сантиметров отъехал от бордюра дальше. Вильнул. Вымеряли же вчера...

Я начинаю главу о широком спектре воспроизводимых частот. В середине дня, как раз к обеду вернулся отец.

— У тебя тут совсем нет кислорода! — весело возвестил он, что должно было означать: «Как хорошо на

улице, как сверкает, как искрится снег, как близок запуск вечного двигателя».

Мы пообедали, тем, что нам впрок заготовила мать. У бати, как обыкновенно, был аппетит по затратам сил, мне его не обойти. А потом он снова ушел.

Своими тайнами он со мною не делился, с матерью тоже. Сегодня у него день загадочных хлопот. И я в одиночестве до вечера сопоставлял между собою лучшие акустические системы. К сетке с задубевшим салом изредка наведывалась знакомая синица. Она уже не опасается меня, но по-прежнему суетлива и несобранна. И все-таки, прежде чем упасть с форточки вниз, она успевает бросить грустный взгляд на существо за стеклом, не умеющее летать.

Летом, когда батя узнал о том, что я собираю дозировку, он спросил:

— А на завод тебя зачислили?

— Нет.

— Значит, ты у Славки работаешь?

— Как это у Славки?

— А у кого? Кто тебе заплатит? Славка? — Я молчу. — А если не заплатит, в какой ты профсоюз обратишься?

— Он заплатит, — поспешно вмешивается мать. — Даже с лихвой. Не сотню за целый месяц, а втрое больше.

— А лихва откуда?

Мать уничтожающе отворачивается: о чем говорить с такими!

Я люблю стоять рядом со столом, прислонив колени к горячей батарее, и смотреть в окно; уж стемнело, а я не спешу включать свет, чтобы снаружи на окно не упал темный занавес и не обособил от мира мою комнатушку. Одиночество в замкнутом пространстве заметней.

Я выходил рано и по субботам отправлялся в райцентр на автобусе. Мог бы увязаться со Славкой — не хотел. Он ездил на своем «Жигуленке». Батрак у Замылиных? Нет. Заводик я обследовал сам. Пусть долго, зато весело.

Девушку при мне едва не захватило за рукав халата винтом тестомесильного ящика. Ящик открыт, она мельтешит над ним. Я всю ночь прикидывал схемку. Теперь винт при открытой крышке не вращается. Закрой крышку — и будет работа.

— На кой черт тебе это нужно? — сказал Славка.— Наше дело — склад БХМ, тут и мозгуй.

— Пошел ты! — сказал я.

Он был прав. За схему и сборку я ничего не получил. Деньги заводу подкинули только для склада.

По скупым линиям огней можно угадать каждый квартал, каждый поворот, каждую улицу, можно мысленно расчленить на детали: на дома, площади, скверы. Сплошной темный массив застройки — там знакомые, выхоженные пути, куда ни повернешь, все памятно.

Летом казалось, что батя смирился: ведь я посерьезнел. Мне даже и ночью снилось, что мука в силосах слеживается, и я стучу тяжеленной «наташкой» по железу, чтобы встряхнуть пласт. Не подумав, я рассказал об этом за столом. С тех пор батя по утрам шутил: «Ну как, этой ночью стучал?»

Но то, что я копался в справочниках и сидел за расчетами, он безмолвно одобрял. Лидия тоже. Серьезный молодой человек из семьи рабочих. Пришла догадка срезать нижнюю часть силосов и увеличить зону аэрации: там станет просторнее, там забушует сжатый воздух, и никакой «наташки» не потребуется. Сбегал к Полозову. Он проверил расчеты. Все верно.

Славка и Григорий Иванович признали мои заслуги, Татьяна тоже была в курсе. Поражаюсь ее любви к известиям: в доме Замылиных и оса над компотом не пролетит, чтобы Танюшка не увидела. Ей было отрадно сознавать, что мне хоть однажды удалось возвыситься до уровня житейской остроты ее мужа. И я ходил с развернутой грудью...

Наблюдаю, как по глубокому руслу окружной, между высокими снежными берегами уходят вдаль запоздалые моторы, не боясь темноты и одиночества. У них не бывает ни душевных приливов, ни отливов, был бы полным бак. Может, и есть оно, равномерное и прямолинейное движение? У меня самого позади только ломаная линия. Но я утешаю себя тем, что отрезки прямой все-таки были. Из прошлого выбираешь то, что поприятней.

Не я ли избавил ребят от двух недель рабского труда? Григорий Иванович под каждый силос ставил четыре опоры по два с половиной метра высотой, а всего двадцать четыре полые трубы. Их нужно было заглуб-

лять на полтора метра каждую и к каждой ноге привязывать по тяжеленному бетонированному ядру, чтобы емкости не покачнула непогода. А тут обошлись четырнадцатью, предложил сварить опоры общими балками. Устойчивость та же, а труд сварочный. Видел, как стоят баки с водой у Полозова в садах. За это я тоже не получил ни копейки. Мое дело — реле и пневматика.

А Славкин авторитет в бригаде отсырел. Славка бушевал: баки, дескать, повалит при первом ветерке, на чем стоять им? Вы только поглядите! А ребята молчали.

Пошли к прорабу, он съездил в управление, там проверили: все верно. Долбить-то грунт и заливать бетон пришлось бы не Славке, его забота ездить, доставать, утрясать. Тут его обойти было некому. А тяжелый труд — ребятам. Славка платит им. И платит как надо. Можете не уважать, а вкалывать будете.

Танюшка в те дни разглядывала меня с любопытством.

— Правда, что ты его поссорил с ребятами?

— Мы все его любим, он дал нам работу.

— Ты хитрый.

— Спасибо.

Почему раскачивается свет? Пухлый покров палисадника то освещается, то темнеет. Исхоженные мною дороги окончательно потонули в сумраке. Вид полутемных кварталов грустен. Я включил настольную лампу.

В шестом часу возвратился отец.

В нагретых комнатах было душно, и мы открыли дверь на балкон. Потянуло морозным воздухом, и я не удержался, накинул на плечи старый отцов полушубок, натянул подшитые валенки и вышел постоять на возвышении, поглядеть сверху на темный поселок.

Батя тоже вышел, во всем чистом, новом, свежий.

Редкие электрические глаза подчеркивали густоту окрестного мрака и всеобщий покой; не знали отдыха только окружная дорога слева и стальной путь справа. Отец смотрел туда, где мощно громыхали колеса, отдавая свой гул земле, на которой прочно лежали рельсы; земля слышала и одобряла этот гул, радостный ее сердцу; он входил в нее там, где прошел состав, но волны от него катились и катились по земле во всю ширь, пока не угасали в самой глубине.

Батя слушал грохот и крики тепловозов, и мне неловко было видеть его таким распахнутым.

Понятны ли эти звуки ночным животным?

Тяжелые груди поездов рассекали тьму, не боясь громад леса, бежали по назначенным маршрутам, чтобы на складах лежало все нужное.

Чем не вечный двигатель?

Последние недели меня смущает ветер, надувающий отцовские паруса.

Поужинали.

Телевизор включать рано — до хоккея целых два часа.

Спрашиваю батю, как поживает Игорь Николаевич. Батя взглянул на меня, удивленный моей прозорливостью и тем, что я ощущаю тайный источник его неслужебной энергии. Мне показалось, что отец хотел бы уклониться от внятного ответа, но, заметив, что я понимаю это желание, сказал неохотно:

— В цехе и в цехе.

— Как там Павлик?

— Тоже занят. Скоро сессия.

С такими шаткими субъектами, как я, батю разглагольствовать не влекло. И не надо.

Полозов полюбился даже Григорию Ивановичу, не одному отцу, полюбился без усилий, мимоходом.

Летом отец попросил меня повести Игоря Николаевича к Замылиным потолковать насчет глушителя. Полозов приехал на машине около семи вечера. Я посоветовал оставить ее на батин присмотр. Григорий Иванович не любил, когда к нему валили, как на станцию техобслуживания. Сам увидит, побывать ли ему у клиента на месте или забрать неисправный узел к себе.

Пришли.

Полозов подал ему эскиз приставки и глушителя. Григорий Иванович капитально их разглядывал.

— Я вам, Игорь Николаевич, поставлю все это подружески, ничего не возьму, а вы уж позвольте мне воспользоваться. Может, из знакомых кто попросит.

Коснись такое Славки, и минуты не подумал бы деликатничать, признавать чье-то авторство да еще разрешения просить, ставил бы как свое и не вспомнил бы о каком-то Игоре Николаевиче. А тут бесплатно такую работу!

Полозов посокрушался, что резина на скатах пообтерлась, нужна бы новая, да негде купить. Григорий Иванович искренне посочувствовал беде.

— Бывают у меня клиенты, спрошу, может, у кого и есть лишние. Только вряд ли.

Номер телефона Игоря Николаевича все-таки записал.

Полозов подобрел к хозяину, то да се, скоро они уже вели сердечный толк о душе холодного металла, который оба долго познавали в разных механических цехах.

— А ведь смогли бы, Григорий Иванович, побегать по цеховым проходам еще не один год. Возвращайтесь в мастера. Местечко вам за месяц пригляжу, и от дома недалеко. С вашей головой и в этом сарае...

— Так я ведь и тут не без дела, — осторожно возразил польщенный хозяин. — Постоянно занят. Вот и вам понадобился.

Полозов посмотрел на Замылина дымчатым взглядом из грустно-сочувственной дали.

— Как бы вам потоньше сказать, Григорий Иванович. Да вы человек умный, не обидитесь. Ведь здесь-то работа не очень авторитетная, даже как-будто и неловко чего-то, а в цехе...

— Неловко, Игорь Николаевич. Вон видите стол во дворе? Слышите, в козла бьют? Даже свет провели, чтобы и в темноте времечко прихватить. А сейчас день и без того до десяти. Они бьют, а я работаю. Они здоровье сохраняют, а я тружусь в свой заслуженный отдых, чтобы к пенсии приработок был, годы свои сокращаю. Есть на такую работу расценок? Нету. И не должно быть. Всем кажется, дорого, а по мне и дешево — второго здоровья у меня нет. А все-таки вот стыжусь, кусок поперечным кажется, потому что вижу — косятся. Шабашником обозначили.

Прибежал Антошка с болонкой. Она подошла к Замылину и просительно подняла вверх нечесаную голову. Григорий Иванович вытащил из верстака небольшой кусочек колбасы, дал ей и выпроводил вместе с внуком.

— Вот тут, приходится, и ем, так втянешься, что и бросать не хочется, как будто через час будет уже не та работа. Нет, Игорь Николаевич, тяга к заработку не порок. Труд одинаков и в цехе, и в гараже, лишь бы на совесть.

— А все-таки в цехе, думается, было бы радостней.

— Полегче было бы, Игорь Николаевич. И для рук, и для души. А тут как будто и прав, и тружусь, а нету уважения, у каждого плохие думки обо мне. Раздвоили красивые слова человека.

Полозов улыбнулся, точно спросил: «Неужели раздвоили, Григорий Иванович?»

— Раздвоили, — подтвердил Замылин. — Против особицы воюют, против интересу, давай, мол, все в кучу. Сколько будет богатства! А по силам ли слабому человеку такая ноша? Ему впору со своим-то с малым управиться. Вот ноги от груза и подламываются. Скидывают его иные с себя, идут налегке. Обыкновенному человеку тяжеленько.

Дома отец спрашивает: отвел? Рассказываю о беседе умных людей. Отложил толстую книжку и карандаш — формулы и схемы батя срисовывает в общую тетрадь. Посмотрел на закатное солнышко.

— Это он себя считает обыкновенным?

Я ждал, что отец продолжит мысль, но он смотрел на солнце. Сначала оно опустится на крышу одного из двух узких домов-пеналов, потом скатится в шахту между ними, а на середине шахты легко пройдет сквозь бетон и станет смещаться все дальше и дальше вправо, а когда совсем приблизится к земле, то отодвинется от пеналов на целый длинный дом.

Пеналы на моих глазах уходили мимо солнца в ночь.

Отец тогда мне больше ничего не сказал. Теперь-то я понимаю: ему казалось, он выложил все. «Это Григорий Иванович обыкновенный?»

Батя стремится провернуть как можно больше своих дел, пока мать в отъезде, чтобы избежать расспросов и комментариев. У буксы теплая душа, которую нужно оберегать от разговоров о неприличном пальто.

В девятнадцать мы включили хоккей.

5

В начале июня Славка, одетый по-чистому, побежал в квартиру чего-то захватить. Раньше-то мне невдомек, а теперь догадываюсь — хотел взять некоторую сумму: ехал добывать недостающее листовое железо.

«А ведь исчезнет сейчас, не успею поговорить о деле».

Бегу вслед. Дверь не заперта. Я уже на пороге. И вдруг слышу отчаянную руготню в два голоса. Буря из-за каких-то отложенных. В них недостача.

Нажимаю несколько раз кнопку звонка. Подходят вместе. Славка пунцовый, злобный. Но я-то тут при чем? Она жалкая.

— Извините, — говорю, — я в другой раз.

Я и прежде подозревал, что она в неволе. Не думалось, конечно, вот так чтобы упорно: ее, дескать, надо вызволить. Да и как подумать, когда понимаешь: и поздно, и за семью замками она, и семья у нее, и все такое. А нет-нет да и промелькнет: а неплохо бы... Да сам и усмехнешься своей несуразной мысли. Фантазия. Больше ничего.

А тут опять старое: а ведь в неволе!

Хотелось бы спросить у нее, да как спросишь...

К сессии я летом готовился на берегу озерца, где в детстве знакомился с явлениями живой природы. Это было исходное место, откуда я начал свой путь к обещанным радостям. Теперь, лежа здесь, я мог хоть ненадолго вообразить себе, что этот путь еще не начался.

Танюшка нашла меня здесь, чтобы сообщить, что Славка уехал. Мне все это нужно было еще обдумать. Я лежал у воды, под ивой. Она сидела напротив меня на пригорочке, закинув одну оджинсованную ногу на другую и выставив навстречу мне гвоздочек каблука.

Тихие всплески в воде и бульканье простейшей жизни помогали нам обоим думать. Ее иссиня-синие глаза, которым художественная отделка почти не повредила, созерцали островки желтых и белых кувшинок, довольных водой и солнцем.

Я мысленно отмечал промежутки между каждым бульканием.

— А ты помнишь, как мы под *нашей* березой ждали, когда упадет последняя капля? — спросила она.

Я помнил. Я бы дождался. Мне нравилась их музыка, капельки были разной тяжести, падали с разной высоты и на разную поверхность и оттого производили разный звук: он был живой, без машинной примеси, обещал близкое счастье, такое, какого никогда ни у кого не было. А Татьяна оказалась нетерпелива и увела меня с опушки. «Может, мы ее до вечера будем ждать», — сказала она.

А разве до вечера долго? Теперь-то я знал, что желанное нужно ждать до последней черты.

Ту заключительную последождевую каплю я не могу забыть и часто думаю, что разладица у нас с Татьяной вышла из-за этой капли, из-за того, что мы ее не дождались и ушли.

Татьяна то поглядывает на меня, то скашивает глаз на свою кофту-распашонку, чтобы убедиться, не сбился ли в сторону вырез и по-прежнему ли выгодно обнажает ее красивую шею.

— А шпаргалкой можно воспользоваться? — спрашивает она, глядя на толстый учебник.

— Ее долго составлять.

— И ты все это запомнишь?

— Когда поймешь, само запомнится.

— Тебе обязательно надо понять?.. Разве мы понимаем, как живем?

— Лучше понять.

— Ты не такой стал.

— Ты тоже.

Золотой крестик на ее груди перевернулся. Я осторожно поправил его, чувствуя под рукой ее нагретую солнцем кожу. Она прижала мои пальцы вместе с крестиком своей ладонью к груди.

Книжка сползла с моего колена и закрылась.

Не знаю, чем бы закончился наш диалог возле озерца, если бы не чепе. Оно случилось не с нами, а с лягушкой.

Она сидела на листе недалеко от берега почти напротив молоденькой лозины и предавалась размышлениям. Ей было хорошо под теплым солнцем, она забылась, выпучив глаза и счастливо раздувая мешки на шее.

И вдруг у самого листа что-то скользнуло, лягушка прыгнула, но зыбкая опора погасила толчок, и лягушка плюхнулась в воду неподалеку от того места, где сидела, и бестолково забултыхалась в воде.

И только тут мы заметили рядом с нею на воде ужа, он извивался на зеркале воды, будто лишенный тяжести, и цепко держал лягушку за лапу повыше перепонки. Она барахталась, таская за собою голову с желтыми крапинами. Казалось, они играют, он не глотал ее, не перекусывал. Была минута, когда он выглядел обессиленным, лягушка затаскала его.

Но, к удивлению, после каждой схватки лягушка неотвратимо приближалась к берегу, пока он вдруг не выбросил издали хвост в сторону лозины и не зацепился за тонкий ствол, а потом, как трос лебедки, стал наматываться на деревце; лягушка поползла за ним брюхом по песку, будто на буксире.

Теперь можно было передохнуть.

Я не успел заметить, когда у него во рту оказалась и вторая задняя лапка лягушки, — таким неожиданным было движение ужиной головы. Его резиновый рот перемещался по спеленутым ногам квакушки снизу вверх, натягиваясь на них: она становилась все короче и короче, все еще отчаянно болтая свободными передними лапками. И вот она совсем исчезла в растянувшихся недрах и сделалась большим желваком пониже острой ужиной головки.

— Как ты можешь тут лежать? — сказала с гадливостью Татьяна и встала.

— Сам удивляюсь, только сейчас понял.

Поднялся, и мы побрели к поселку.

Ей было не по себе, нижняя губка жалко вздрагивала. Я взял ее за руку.

— Я ждала, что она вырвется.

— Тебе у Замылиных плохо? — спросил я, все еще держа ее руку в своей.

Она молчала, не опровергая моей догадки, но и не решаясь подтвердить ее. Смотрела вниз, чтобы я не видел ее взгляда. Наконец почувствовала неловкость молчания и подняла на меня глаза.

И я понял, что был прав.

— Ты боишься его? Он тебе грозит?

Ее выражение вдруг переменилось, стало решительным и твердым. Она раскрыла сжатые губы, готовая что-то сказать, но передумала. «Еще посмотрим, кто кого». И слов не надо. И так понятно.

У поворота стежки она вдруг улыбнулась.

— Чтобы жить как люди, надо много-много волноваться, Геночка.

Мы прошли еще десяток метров.

— Возьми мой телефон. Это клуб, — сказала она.

Я записал номер на семнадцатой странице учебника рядом со штампом библиотеки.

— Я пойду одна.

— Пока.

Батины свободные дни мать загружает сполна. Сейчас она в столице, и батя без нее набрал обороты: то в бегах — на ногах, то письменно объясняется в любви к буксе.

Я ждал его обедать, одному сидеть за столом скучно, а он в двенадцатом часу явился веселый и сытый. Где пообедал, не поделился. Мне и так было ясно — у Полозовых. Обедать мне пришлось в глубокомысленном одиночестве. Я догадывался, что затевается что-то решительное, и ждал, когда он сунет блокнот на место, я хотел взглянуть туда одним глазком, а батя расположился за кухонным столом, который после меня промыл еще раз и застелил газетой, и стал гравировать свои мысли на бумаге. Так усердно над листом он еще ни разу не трудился.

В то самое время, когда я решил, что он уже выходит из уединения, чтобы отправиться за овощами в магазин, — список их, деньги и сумки были оставлены матерью в обычном месте, в кухне на подоконнике, отец подошел ко мне и попросил чистую тетрадь, с которой вернулся в кухню и корпел за столом еще около часа, и, только вспомнив, что магазин может закрыться на перерыв, засунул во внутренний карман свои секреты и побежал в овощной.

А когда вернулся и оставил сумки в кухне, заглянул в мою комнатушку. Я собрался освободить ему стул от книг, но он сказал:

— Я ненадолго.

Батя хотел узнать, не смогу ли я добавить немного. Он собрал матери на зимнее пальто, с хорошим воротником, приглядел размер, а денег недостает.

— Ты там на что-то копил, нельзя ли у тебя позаимствовать?

Это был острый сюжет. Приключение. Откуда у отца деньги? Не выводит ли он из строя пути, не грабит ли в поле товарняки? Правда, у товарняков нет почтовых вагонов. Тогда откуда же деньги?

И добавить-то нужно меньше сотни. «Я собрал!» У него же в кармане только медь.

Спрашиваю, с каким воротником пальто. Оказывается, из чернобурки, под цвет новой маминой шапки. Кто бы мог подумать, что отец во всем этом что-нибудь смыслит!

Копила-то мать в свое время и на шапку, и на паль-

то, но бег времени подвел ее, денег хватило на одну вещь, и она выбрала шапку. И, выходит, очень кстати. «У меня всегда так, одно новое, другое старое», — недавно говорила она.

Весточка прямо-таки окрылила меня.

— А может, говорю, преподнести ей сюрпризом? Размеры-то мы знаем.

— Без нее? Она его выбросит.

А мать отстаивает в главке свои экономические анализы и ничего не знает. Сколько тысяч тонн грузов прошло за год через объединение, какова себестоимость переработки одной тонны, она знает; каким бременем лежат на себестоимости транспортные расходы — знает, а то, что у нее, может быть, уже на этой неделе будет новое пальто, — не знает. Доцент Светлов прав: случайность — подшипник мироздания.

Теперь поездки с бумагами в Москву будут для нее сплошным праздником. В новом пальто она будет выполнять свои служебные обязанности с особым вдохновением!

Когда в ячейках многоэтажных ульев стали зажигаться окна, меня навестил Николай Иванович. Ловко полистал своими беспалыми ладошками общую тетрадь, посмотрел на мое рабочее гнездо, свитое из книг и справочников, на мое отрешенное от суеты лицо и остался доволен тем, что отпуск без содержания, который он дал мне, даром не пропадает. Николай Иванович гордился мною больше, чем родители. Ведь это он внес в меня радиоинфекцию.

Я любил смотреть, как он из деталей и проводков мастерит приемники, магнитофоны, телевизоры. У него была целая гора этой начинки, а собранные приемники лежали вдоль стены без корпусов, и мне не верилось, что в этом нагромождении железок может зародиться живой звук человеческого голоса, стоит только повернуть стержень регулятора, где и пластмассовых колесиков-то не было.

Первое время я наблюдал не за тем, как сосед из железок мастерит музыку, а за тем, как он орудует своими двумя культяпками; в войну на обеих руках у него были отморожены пальцы. Казалось, что ими немыслимо не только собрать что-нибудь целое из мелких частей, но и взять ложку в руки, надеть пальто, обуться.

Но он собирал. И когда из груды сплоченных железок вдруг начинала литься дошедшая из-за чужих морей музыка, она звучала как дружеская, от самого чистого сердца награда за старание, за веру в волшебную силу железок.

Скоро я привык к тому, как проворно и расчетливо он управляется с железной мелочью, перестал удивляться этому и дал себе слово собственными здоровыми и сильными руками собрать радиоприемник. Я просто не мог спокойно ходить в школу, пока не выполню обещанное. И как только ночью, еще без ящика, я включил на кухне на малую громкость собранный приемник и услышал легкую музыку, то понял, что глаза боятся, а руки делают.

Потом инвалида-надомника перетащили в мастерскую приглядывать за молодыми, потом он сделался Николаем Ивановичем, а заведующие в мастерской уже больше не менялись. Он и меня теперь проверял, как получившего отдельное производственное задание.

«Дядя Коля, какой ты стал старый-старый, белый-белый».

Он усек.

— Вот так не успеешь оглянуться, как ты укоренишься при телефоне и начнешь позванивать. Захочешь тебе сказать: «Здравствуй, Генка», да и воздержишься.

А сам, вижу, рад, если я подберусь к месту, откуда позванивают. Ушел почти лучезарный.

Не началась ли моя анкета задолго до моего рождения, в тот день, когда он полз по снегу от бугров Чижовки к реке? В последнее время я силюсь отыскать эту родоначальную точку, как будто с нею мне откроется что-то первостепенное.

Курсовой проект будет проверять строгая ассистентка, та самая, которой летом, на следующий день после чепе с лягушкой, я сдавал экзамен. До сих пор вспоминаю с досадой поспешность, с какою вызвался я тогда отвечать. Билет попался легкий, все казалось ясным. А надо было посидеть минуту-две, чтобы продумать все изгибы, чтобы подготовиться к дополнительным вопросам, которые выглядывали из-за каждого поворота темы. Не хватило терпения. А тут еще знал, что после экзамена, после освобождения от неизвестности, которую он в себе таил, я должен позвонить Татьяне.

Наставница страдала от неучастия в беседе, потому что начал я довольно бойко и связно и ей не удавалось втиснуться в ответ ни с одним словом.

Зато она решила взять реванш на дополнительных.

Если бы я попытался формулировать ответы вслух, без подготовки, хватаясь за первые пришедшие слова, а затем принялся бы уточнять сказанное, то она энергично включилась бы в помощь, и тогда хорошей оценки мне бы не видать.

«Разрешите подумать», — сказал я, и она словно споткнулась и выглядела недовольной. Ее нетерпеливости был нанесен ущерб. Если бы последовал новый вопрос, она вновь бы услышала «разрешите подумать». И так до тех пор, пока не посинела бы от тоски. И все-таки я понимал: не нужно думать о Татьяне. Тогда бы все было хорошо. А как не думать, если нужно звонить, если она ждет?

Ассистентка видела, что я понял ее вожделение, понял, что она не прочь снизить мне оценку за стойкую оборону. Но, чтобы показать, насколько я заблуждаюсь на ее счет, она вписала в тесную графу зачетки то, что я ожидал.

Словообильностью она смахивает на школьную биологичку, ведавшую художественной самодеятельностью. И такая же добренькая.

Таня от полноты души поделилась с биологичкой нашей обоюдной тайной, они повздыхали в перерывах между репетициями, а вскоре в учительской об этом говорили все, и, чтобы не переводиться в другую школу, Таня дала директорше клятву прекратить дружбу со мной. Дружба, понятно, не прекратилась.

После экзамена я подошел к телефону-автомату в вестибюле института, опустил монету и набрал номер клуба.

Один гудок, второй, третий. Словно к третьему акту, который мы с Татьяной хотели бы разыграть заново.

Едва трубку сняли, я свою повесил, прислушиваясь к тому, как загремела монета.

Теперь уж надо все обдумать.

6

Из комнаты в коридор, где я ждал Лидию, выглянул Василий Васильевич и позвал меня к себе.

— Лидия Васильевна отлучилась и, возможно, не появится. Но я жду звонка. Можете и вы перемолвиться.

Между мною и Тоболиным В. В. тайная приязнь. Когда Лидия входит, мы с ним как будто незнакомы.

Я знаю все неисправности казенного магнитофона, не забываю при случае захватить для Тоболина кассету с пленкой. Он не выдворяет меня, когда я копаюсь в магнитофоне, даже если в комнате посетитель. Стол у него огромный, дубовый, вышедший из моды; бланки всяческих видов разложены стопами; выдвигает он ящики, не дергая, чтобы стопки не рассыпались.

Я знаю, зачем он сейчас нагнулся, пусть его руку из-за стола и не видно. Там у него около ноги стоит большой, как теплоход, портфель, внутри которого, наверно, сто отделений и карманчиков. Сейчас он вытащит ножницы, чтобы подравнять зубцы неровно оторванного листа; не глядя, он сунет ножницы обратно.

Вместо человека проницательного и строгого входящий видит перед собою обеспокоенного письменными заботами старичка, взгляд которого лишен интереса к тому, что другие считают любопытным.

Главный смысл его усилий в том, чтобы побыстрее и поточнее записать ответы. Этим он озабочен больше, чем сутью ответа; он вливает ответы в словесные формочки, вслух повторяет то, что пишет, не выделяя голосом ни одного слова, сосредоточенный на самом процессе письма.

Он умело переводит взгляды, жесты, эмоции в их письменный эквивалент. Люди благодарны ему за то, что он приходит им на выручку, не требуя от них самих подыскивать ужасные слова.

И он неспроста озабочен писаниной, не желает выделить голосом ни одного слова, — они все ему важны.

Если бы не было письменной завесы, Василий Васильевич сам бы придумал ее, из-за нее он подглядывает за собеседником, не упуская и ничтожной малости. У него сто способов высовываться из-за нее наружу — он может выдать вопрос, который давным-давно заготовил, за пустяковое уточнение для бумаги: вот, дескать, я и слышал, что вы говорили, но как-то упустил

подробности, а записать надо, время идет, вы и я торопимся, уточните.

Он никогда не спросит, согласился ли человек на что-то дурное, почему, а спросит о мелочи, о самом обыкновенном: где стоял, когда все происходило. И обоим приятно перепрыгнуть через неловкую фазу. А уж где-нибудь в конце (он давным-давно знает, в каком месте, знает, как присоединить это добавление к общему рассказу) он и спросит о самом главном, спросит ровным голосом, и опять не для себя, — для бумаги, и даже посочувствует человеку: не страшно ли было?

Другой бы на его месте начал бы с громких слов: как же вы смогли, как решились, какие мотивы? Бедняга, может, целую неделю готовился к таким вопросам, истерзался весь, а тут вдруг все тихо: где стоял, что сказал, куда пошел, на каком номере уехал, во сколько узлов завернул, чем перевязал — опись мелочей.

Обоим легко говорить. Он ведь надеется, что, оставшись наедине с собою, собеседник прислушается к своему справедливому сердцу.

— А вы, Василий Васильевич, обходительны, — сказал я однажды. — Очень обходительны.

— А вы, Геннадий Петрович, очень любознательный радиомастер.

Видя, что он в добром расположении, я решил углубить свою любознательность и спросил, все ли дается Лидии Васильевне на девятом этаже.

Тоболин внимательно изучил меня взглядом и сообщил, что она весьма собранная. Даже в недавней тесноте, во время ремонта она не теряла ни минуты. Если все стулья были заняты, она готовила бумагу на подоконнике, на колене, на свободном углу чужого стола, не обращая внимания на телефонный разговор; не ищет ни кодекса, ни бланка — у нее все под рукой. Ее черновиков уже не правят.

— Насчет способности размышлять? Тут, знаете, терпенье важнее криминалистики. Да и у кого они, эти способности? С ними в академики идут. А у нас служба.

Итак, о чрезвычайных способностях судить пока рановато.

Василий Васильевич полагает, что огорчил меня, а я улыбаюсь, я обрадован. У Лидии Васильевны нет причин заноситься.

Я приметил, Тоболину не по душе ее голос, в нем

слишком много уверенности. А Василий Васильевич знает, что на девятом никогда нельзя показывать, что ты в чем-то уверен, иначе везение от тебя отвернется и для тебя потекут горькие дни.

По его мнению, голос у нее слишком уверенный, неопасливый, он угнетает его, заставляет оставаться всегда настороже, прислушиваться и приглядываться к тому, что Лидия говорит и делает, чтобы вовремя вмешаться и удержать ее от ошибок. И Светлова (я-то знаю!) у Василия Васильевича под колпаком.

А ей, пожалуй, не нравится, что я все это вижу. Но она делает вид, что никакого ущемления свободы не чувствует, и даже не замечает, что я догадываюсь о неудобствах ее жизни на девятом этаже.

Спрашиваю, не огорчают ли его зерно, полосы или серость на экране. Никаких изъянов на экране нет, потому это экран уже неделю не светится. Раза два отпрашивался с работы, но разминулся с мастером: один раз мастер вовремя не пришел, в другой раз сам не досидел, вызвали на место происшествия.

Дорогой дедушка, о чем речь! Будут у вас такие же, как у всех, друзья и строгое расписание встреч с ними. Без общества нельзя.

Договорились, что я зайду за ним, как только он подаст мне знак.

В начале седьмого Лидия отчиталась по телефону перед Тоболиным, а мне сказала, что завтра с фотографией — как условились. Нас ожидала пленка, мы должны были ее отпечатать. Волшебная пленка!

Милый дедушка, я крепко жму вашу руку и обнимаю вас!

Покинув Тоболина и девятый, шагаю по улице, принимая в себя множество взглядов, в них недовольство, радость, бьющее из глаз молодое счастье, на иных полудетских личиках напускаю значительность, — такое множество выражений, что один только я могу понять и разделить их сразу. Замечала ли она эту радостную пестроту?

То, что представлялось случайным, лишенным смысла, наконец-то призналось, что оно совсем иное, полное интереса. Глазу весело открывать значение там, где его недавно не было. Чувствуешь себя умней. Ты, понятно, остался прежним, просто окружающее пожалело тебя и открылось. И смотришь ему в душу, киваешь.

Уже далеко отойдя от многоэтажника, поднимаю голову и на прощание смотрю снизу на балкон девятого, где должен стоять Василий Васильевич. Он всегда за нами подсматривает. Когда мы после работы перебегаем с Лидой улицу, взявшись за руки, он смотрит сверху. Сейчас он тоже стоит на балконе.

Он полагал, что я полечу на крыльях, как только покину кабинет, а я, как и все, медленно перемещаюсь по земле.

Я прощаю Василию Васильевичу то, что он подглядывает за мной. Разве это любопытство? Это раздумье о себе, о прошлом да и нынешнем.

Я знаю: видимое сверху кажется другим, обобщенным, даже маленьким под ясной безбрежностью неба, дома сливаются в искусственные каменные цепи и хребты, более полные жизни, чем природные, виден все еще длящийся процесс горообразования, видны дымы, бьющие из недр, слышен неумолчный грохот.

Василий Васильевич, наверное, сожалеет о том, что люди внизу беспечно бегут, не опасаясь очередного выброса, не ожидая беды. Наверно, сожалеет о том, что идущие внизу не понимают своего интереса, столь ясного сверху ему, Тоболину.

Как же я забыл! Сегодня он расспрашивал меня о родителях, о жилой площади. Тонкий старик.

7

Сегодня день с утра какой-то особенный. Наверно, оттого я оживлен и приветлив с клиентами, жалею их. У них нет впереди радости, одно тусклое дление времени. А мне стало интересно и весело ходить по домам, чемоданчик словно потерял половину веса; работа стала способом ожидания встречи с н е ю. Не будь этой ходьбы по чужим квартирам, чем бы я занял себя в долгие часы, отделяющие утро от вечера? Можно было бы погибнуть от тоски и праздности.

А так она теперь со мною везде, куда бы я ни пошел, с любопытством поглядывает на меня со стороны, оценивает все, что я делаю, и я стараюсь не ударить в грязь лицом и заслужить похвалу. И моя сноровка, и улыбка, и шутка теперь должны быть лучше, чем прежде. Она их видит и слышит.

И я весел оттого, что они ей по душе, что она их одобряет.

А веселый человек больше видит. Разве я раньше открыл бы, что тополь у гастронома — это зеркало? Ветер ударяет в стену листвы, она бурлит, сверкает, разбрызгивает свет.

Разве я раньше спросил бы себя, что привлекает ласточек в самые шумные и беспокойные места города, почему носятся они над самыми высоченными домами, оглашая высь радостным посвистыванием?

Место, где таится частная хоромина, которую искал я, утром бы выдал петушиный крик, днем же надо поплутать по коридору между дощатыми заборами, прежде чем попасть в узкую калитку, оставленную строителями для хозяев особнячка, ожидающего сноса.

Молодой пес, накопив на цепи значительную энергию, встретил меня на ближних подступах к дому, но оторопел от решительного шага и упустил момент для броска. Я уже был на крыльце. Как сторожа, собаки ненадежны, они подвержены случайным эмоциям.

Хозяйка, показав мне на радиоприемник, долго не выражала ни интереса, ни радости оттого, что ее имущество улучшает свое качество и уже вновь используется по назначению, оглашая комнату свистом дальних станций, но, заметив мою смешную веселость, подошла и даже улыбнулась в ответ. Втиснулась в узкое пространство между приемником и креслом, более удобный проход занял я со своим чемоданчиком.

— Боком нужно ходить, — сказала она.

Я понимающе улыбнулся, не зная, рада ли хозяйка тесноте, рожденной обилием имущества, или, напротив, уже осознала удобство передвижения по прямой.

— Говорю мужу: «Давай лучше съездим куда-нибудь, пока молодые, места посмотрим, чем все это покупать, годы-то идут, а он: ты что, чем мы хуже людей, у других есть, а мы что горбатые?.. Получает триста, да я сто двадцать, посменно работаю, а ребенок один, и тот у бабушки, — не с кем оставить. Почему бы не жить? Вон у соседей всего по сто рублей с небольшим, нашего возраста, учителя, а как выходной, начистятся, нагладятся, хоть все дешевенькое на них, а ловкое, взялись под руку и пошли, а я на них только в окно смотрю. Говорю своему: пойдем, пьесу какую-нибудь поглядим, а он: ты что? Это же сколько выброшенных?

Два билета — пять рублей, тебе чулки новые, да в парикмахерскую сходить, да мне в буфете уж не коньяк, хотя бы сухого, а тебе шоколад — вот и весь четвертной. Да мы за него с Павлухой двое суток будем в норме... Приемник этот ни муж, ни я не слушаем, больше у телевизора. А все-таки, говорит, давай отремонтируем, а то гости вдруг придут, кнопку надавят, а он без голоса. Это, значит, нам минус.

Вряд ли она говорила обо всем этом мужу. А с незнакомым почему не поговорить?

Зайти бы к ним через годик, взглянуть, не подносились ли у приемника лампы.

Обратную дорогу я срезал, прошел двумя строительными площадками. На стройке перерыв, в бытовках обедают, девчонки-отделочницы загорают, лежа на лесах.

Внизу их ждет коробка, где бесформенный песок и бесхарактерная щебенка, замешенные вместе с цементом, превращаются в бетон. Объект, входя в систему, изменяет свои свойства, — сказал бы доцент Светлов.

«Любопытный малый, хоть и смазчиков сын. Посмотрим, посмотрим», — всякий раз сообщает мне его взгляд.

«Такой, какой вам и нужен. Кто же будет восхищаться вероятностным миром, которому отдано ваше сердце?» — говорит мой ответный взгляд.

Стройплощадками я вышел прямо на станцию и постоял с минуту, провожая взглядом поезда.

Раньше я завидовал тем, кто сидел в вагонах, и был грустен: они ехали в незнакомую жизнь, ехали в счастливую дымку. Теперь я смотрел на них с улыбкой, они уезжали от своего счастья, искали его в сутолоке, а оно всегда таится рядом, как земляника под листиком, — поднимешь, а она там. Я мудро улыбался, глядя им вслед, они скоро вернутся, они так же, как и я, узнают правду.

В пределах участка я продолжал открывать маленькие истины до самого вечера, заставшего меня в одном из корпусов санатория за регулировкой цветного телевизора.

Под самым окном шатер векового дуба. Усталые от пляжного солнца обитатели белых зданий нежатся кто на постели, поверх одеяла, кто на балконе в креслах в ожидании ужина. Просторная столовая с воздушными

гардинами на огромных окнах живет неслышной деятельной жизнью, предупредительно распахивает перед людьми обе створки дверей в назначенный час. Между корпусами разлив белых и красных роз, в стороне — танцплощадка. За корпусами — лес и дымчатый туман.

Кажется, сейчас раздвинут занавес и зазвучит оперетта.

Санаторий — моя постоянная точка. У мастерской с ним договор. Я люблю бывать здесь.

За окном опять крики. Выбежал на балкон. Так и есть. Чомбе опять вышел на охоту. Изо всех окон женщины устрашают его воплями и энергичными взмахами рук, летят газетные комки, но он продолжает ползти по суку.

Он персональный кот и хорошо об этом знает. Его хозяин — главный врач. Кот следит за теми, кто возмущен, косым взглядом. Большая ветка почти упирается в карниз. Кратчайшая дорога к желанному гнезду.

Я срываю резинку с пакета, где у меня новые лампы, делаю пульку из проволоки, какая потолще. Завхоз видит, что этой пулькой черного кота можно сделать инвалидом первой группы, но молчит.

Тщательно прицеливаюсь.

Вжик! — И снаряд поражает цель. Кот как бешеный несется назад к окну, откуда предпринял вылазку.

Может быть, это уже начало оперетты? Долгожданной счастливой оперетты с моим участием? Может быть, скоро и мой выход?

Комнаты были просторные, с натертым хозяйкой блестящим паркетным полом, сверкающими стеклами книжных стенок, до блеска промытыми; ковер на полу был мягкий и пушистый, хотелось не ходить по нему, а разглядывать сложный заморский узор с невиданными животными; занавески были белые,. воздушные, без единой складочки и затяжки; моложавый хозяин сидел в глубоком кресле достаточно свободно, с удобством, но так, чтобы не слишком мять сорочку.

Большого приема не ожидалось, и значительный вид был нужен хозяину ради значительной минуты, которую подготовил он: Лидия переведена из стажеров на постоянную должность, сделала первый шаг по пути интеллигентной жизни, которую он для нее хотел. Мать была усталая, одетая наспех, плохо причесанная.

Меня усадили рядом с поздоровевшим другом пернатых, совсем не похожим на того больного небритого старика, которого я впервые увидел весною. Окреп и загорел.

Он охотно поделился бы теперь своими думами о птицах как о примере вечного благородства, но знает, что среди сидящих один только я приму к сердцу птичью мудрость. А я теперь озабочен другим — размышляю над тем, почему я не до конца проникся мыслями хозяина о вероятности и случайности. Разве не случайность повинна в том, что по левою руку от хозяина сидит субъект, который не сводит с Лиды голубенького взгляда и лезет из кожи вон, чтобы поразить ее своей ученостью? Он невелик ростом, на него словно не хватило материала, однако сам он этого не замечает и преисполнен сознания своих возможностей.

Он аспирант Светлова.

В нужную минуту он открывает краник для гладких, невыразительных слов, и они ровно струятся, пока не наступает время привернуть вентиль, дабы позволить высказаться патрону. Если сзади и с боков обстричь ему волосы, то уши у него будут торчать в стороны, как ручки самовара. Лида с интересом слушает его слова о том, что каждый элемент системы ведет себя вероятностным способом, но в массе они дают закономерность. Его поддержал и орнитолог, именно так ведут себя и биологические системы.

Потом аспирант неприметно переходит к повседневности и восхищается тем, какие горизонты открываются теперь перед Лидой. Видеть общий ход дел и активно вмешиваться в него — всякому ли такое дано?

Блестят корешки томов. Кое-какие из них я листал. Подчеркивать нельзя, закладка тоже нежелательна, а места попадались любопытные. Одно касается нынешнего разговора.

— Анатолий Анатольевич затронул весьма любопытную мысль, — сказал я, с удовольствием глядя на его уши. — Над нею ломают голову давно.

Я протянул руку за томиком Толстого.

— «А между тем в действительности те личные интересы настоящего в такой степени значительнее общих интересов, что из-за них никогда не чувствуется (вовсе незаметен даже) интерес общий. Большая часть людей того времени не обращала внимания на общий ход

дел, руководилась лишь только личными интересами настоящего. И эти-то люди были самыми полезными деятелями того времени. Те же, которые пытались понять общий ход дел и с самопожертвованием и геройством хотели участвовать в нем, были самые бесполезные члены общества...»

— Ценю за полемический дар, — сказал доцент Светлов. Сидя в кресле, он покачивал ногой, закинутой за ногу. Виден был весь рисунок красивых тонких носков и полоска белой здоровой кожи.

— Но ведь автор был больше художник, чем мыслитель, — возразил аспирант и обратил к патрону голубенький взгляд: как вы полагаете? Но хозяин не спешил к нему с поддержкой.

— А разве художник не может высказать здравой мысли? — спросил я доброжелательно.

— Видите ли... С помощью парадокса скорее предполагалось дать негативную оценку известной категории лиц, чем придать сказанному всеобщий смысл.

— То есть?

Аспирант не хотел замечать моего напора и смотрел на меня ласково, по-голубиному.

— Можно катить тачку, быть самым неприметным существом и вместе сознавать, что строишь знаменитый Шартрский собор. Не обязательно только проклинать тачку и думать об одном хлебе насущном, можно держать в душе всеобщий ход дел.

Я уже перестал замечать его уши. Такой Лиде может понравиться.

— А Магнитка, а Днепрогесс, а целина? — поддержала Лида. — Разве все туда ехали только за рублем?.. А сам-то ты что думаешь?

Уж не обиделась ли она? Уж не ранил ли я ее нечаянно своим тезисом?

Пришлось признать, что собственное мнение у меня пока не сложилось, но что я чувствую в цитированных строчках какую-то правоту.

Аспирант смотрит на меня и пытается угадать, сколь долго протянется у Лидии любопытство ко мне. Ответ, который напрашивается, видимо, радует его. И он улыбается, не пытаясь отвести глаз. Я самобытный объект наблюдения, особенно интересный тем, что наделен некоторыми формами сознания.

В гостиную из кухни доносится то стук тарелки о

тарелку, то звук ножа, сорвавшегося при резке, то свисточек закипевшего чайника.

Птичий ученый смотрит на то, как хозяин покачивает ногой. Мне кажется, что старик его не любит.

— Представьте, я чувствую то же самое, что и Геннадий Петрович, какой-то более общий смысл, — говорит старик.

Его заступничество вызвало у троих улыбку. Но он еще не все сказал.

— Не могли бы вы пусть грубо, в самом отдаленном приближении выразить, то, что вас в этой мысли привлекает?

Он смотрел на меня дружески. «Да, да, что вы чувствуете?»

— Мне кажется, — неуверенно сказал я, — что всем помочь трудно: делайте добро тому, кто рядом, одному-двум, кому вы можете, перестаньте возноситься в облака и тешить себя неосуществимостью.

— А не принижается ли тем самым идея? — сказал доцент Светлов.

Я почувствовал, что ударила тяжелая артиллерия, но возвращаться в укрытие было слишком поздно.

— Вряд ли. Просто слова пододвинутся к делу, — ответил я.

— Вы нас подозреваете в этом грехе?

— Не имею никаких оснований. Мы ведь не о личностях.

Аспирант встал, чтобы взглянуть в окно на свою машину, стоявшую во дворе.

— Недавно сняли колесо, еле добыл новое. До чрезвычайности быстро снимают, прохвосты.

«Вот Лидия Васильевна и обнаружит ваше колесо. Путем перебора вариантов. Она с таким удовольствием слушала вас».

Я улыбнулся своей мысли.

— Ты всегда как-то загадочно улыбаешься.

— Мне уж и улыбнуться нельзя.

Потом было и сухое, и тосты, и шутки, и музыка, но мне все казалось, что я чем-то омрачил торжество, сказал что-то непозволительное о том, что дорого хозяевам.

Анатолий Анатольевич был предупредителен со мною, будто с человеком, получившим травму, а мне в благодарность за это хотелось постучать пальцем в

броню его необмятого костюма, чтобы определить, много ли места под ним занимает его грудка. Это бы меня утешило.

В конце концов я сказал себе, что обидел хозяев не я, а нелюбезный автор, и уже с меньшими угрызениями совести слушал повесть орнитолога о прямодушии птиц и верности их птичьему долгу.

Подозреваю, что старик не без основания ставит их выше людей. А то, что отдельные экземпляры берут со своих собратьев легкую дань головою, старик им это прощает. Не пашут они землю, нет у них ни фабрик, ни заводов, а жить надо. Зато делают они свое дело вежливо, не вызывая в стае переполоха, ни разрушая сообщества птиц; подстережет разиню, не успеет она пикнуть, как дело сделано, все кончено. Запасов не держат, не копят впрок, пропитание добывают ежедневным маховым трудом. Отсюда и ясность мыслей.

Мать Лидии в боях не участвует. Она подает, принимает. Всегда в фартуке.

Такие лакомые блюда, как у Светловых, я раньше видел только на цветной вкладке в книге о вкусной и здоровой пище.

Хозяйка вносит торт. По одному весу на руках она чувствует, что всего в нем в меру. Ни тяжел, ни легок. Хорошо пропитался. Уже ее-то руки знают в этом толк.

Я хвалю торт всей своей горячей камчатской душой. Не знаю, надо́ ли по этикету хвалить, а если надо, то в таких ли пламенных выражениях.

Когда все это красивое и питательное разнообразие было съедено, когда запахи и вкусовые радости стали обмасливать и мысли, я по примеру хозяина приютился на мягком диване и отдал себя во власть успокоительных звуков, которые извлекала Лида из пианино.

Я уже забыл, когда слышал не машинные, процеженные через множество ящиков звуки, а чистые, живые, теплые, рожденные для меня на моих глазах длинными красивыми пальцами.

Я готов был извиниться перед хозяевами, перед Анатолием Анатольевичем за свои неделикатные слова, а птичьего кандидата готов был обнять за его любовь к обитателям небесных пространств и за его доброту.

Потом играл Анатолий Анатольевич. Он выбрал нечто веселое, доступное даже мне. На стуле он казался выше, но все-таки спинка закрывала ему лопатки.

Неприметно я наблюдал за тем, как Лида слушает. На ее правильном лице не было обычной серьезности, оно было открыто и улыбчиво, Лида следила за мелодией, угадывая все повороты, подъемы, вариации, будто шла по хорошо знакомой стежке теплым весенним днем. И неожиданно меня тронули в ней иные, чем у меня, пропорции деловитости и простодушия, более счастливое их сочетание, чем у меня самого.

Когда Анатолий Анатольевич закончил свои фрагменты, он занял прежнее место вблизи окна. Во дворе бегала ватага дико растущих ребят с палками-саблями в руках.

Не будь меня, все, возможно, с живостью обсуждали бы перспективы служебной деятельности Лиды, а она со знанием предмета поделилась бы своими свежими наблюдениями над миром искаженных душ.

Я почувствовал себя просто обязанным вернуть беседу в то русло, из которого необдуманно отвел ее.

Как только я копнул эту почву, я почувствовал, что никто на меня зла не держит. Да и вряд ли кто способен долго обижаться на меня, видя мой безыскусный взгляд.

Лида охотно рассказала о тех, кто за минувший год сидел напротив нее по ту сторону стола, и все удивлялись тому, как часто повторяются характеры и мотивы. В ее книжках даже до тонкости разработаны советы, как поступать служащему в том или ином случае, как будто уже известны люди, которых советы касаются, как будто они уже содеяли то, о чем сказано в рекомендации.

— У них, наверно, все особенное. И внешность, и речь, и поступки? — интересовался Анатолий Анатольевич, прислушиваясь к гиканью и крикам во дворе.

В институте она так и думала. А присмотрелась — обычные люди. Есть, конечно, и жаргон, и ужимки, но это у тех, кто уже пообщался друг с другом в местах, специально для этого отведенных. Но таких немного. А в большинстве — обычные, и нет никакого стеклышка, чтобы разглядеть в них дурную ДНК.

И все-таки она почувствовала в них изюминку: отдельный дурной индивид и не отличается от обычного человека, а вот все вместе они очень даже заметно отличаются от массы, у них и образование пониже, и воспитание пожиже, и пьют они не рюмками, и воззрения у

них лесные, и характер дерганый. Лидия далека от солидарности с Ломброзо, неуравновешенных и среди обычных людей немало, особенно по современной быстроходной жизни, а все-таки среди правонарушителей такие погуще.

Мне мягко и дремотно на диване, я слушаю только голоса. Орнитолог на диване рядом со мной, а его надтреснутый голос доносится до меня будто из прошлого, на нем окалина лет; рокоток хозяина звучит сильно и раскатисто; не тронутый временем голос Анатолия Анатольевича неистощим, он будет литься вечно.

И вдруг ко всем этим голосам примешался шелковистый голос Лиды. Она объявила, что я мог бы спеть кое-что под гитару.

Дремота с меня сразу слетела. Я порадовался тому, что гитары у Светловых нет. Но Анатолий Анатольевич, предвкушая забаву, сбегал с кому-то на второй этаж и принес гитару.

Оказалось, однако, что играть я умею. Лида не ожидала, что я столь непринужденно буду держаться с инструментом в руках, и смотрела на меня, точно я избежал великого позора.

Я тронул струны.

Стареньким железом крыта крыша,
И под ней,
увенчанной трубой,
Хорошо на время быть забытым
Верными друзьями и тобой.
Не журит никто,
Не утешает
И не покушается на честь,
И никто на свете не мешает
Видеть мир таким,
Каков он есть.

Когда Лидия меня провожала до автобуса, она сказала: «Ты вносишь в душу какое-то беспокойство».

Если бы я сам знал, куда от него деться.

8

Прораб, хоть не обещал, а заглянул к Замылиным, когда наведался в город за последним железом для баков. Пожелал встретиться со мною. Антошка принес мне Славкину записку. Славка звал меня к себе с чертежами. Сама аппаратура, еще не собранная, не подо-

гнанная, лежала в деталях у Славки в гараже. Я каждый день по часу, по два готовил ее к сборке, доводил до размеров, сочленял в узлы.

Прораб удовлетворился уже тем, что я по-прежнему существую, что я не мертвая душа в списке бригады, и слушал мой доклад невнимательно, взглянул на то, что я успел собрать, и на все, что лежало в заготовках, без того интереса, какой можно было ожидать от человека, давшего по пути домой такой большой крюк.

Прораба, возможно, успокаивал мудрый вид Григория Ивановича, стоявшего рядом со мной.

Установка, сделанная руками Григория Ивановича, несокрушимо трудилась в соседнем райцентре, прораб видел ее и не желал иной. Она была столь просто выдумана, что в ней было нечему ломаться.

— Достань-ка холодненького, — попросил Григорий Иванович и подал сыну чистый эмалированный бидончик. — По этой жаре квасом только и спасаюсь.

Славка проворно спустился в подполье, выложенное кирпичом, с добротными, из вершковой доски полами, электричеством и вынес оттуда любимый отцов напиток.

Григорий Иванович, хоть и занимался всю жизнь железками, а в душе оставался человеком сельским и привычки свои не менял. Новшества терпел по нужде, часто ездил в деревню, чтобы пройтись полевой дорогой, прикинуть виды на урожай, растереть в промасленных неотмывающихся руках колосок, посокрушаться замеченным небрежением к машине, потолковать с теми, кого знал, о прошлом и текущем, ощутить куда ветер дует; собственный пригляд предпочитал всякому иному, но газетки почитывал и радио послушивал; стоял у покинутых, забитых досками домов, спрашивал: «Это чей?» Не мог не потрогать тяжелой ладонью новой выдумки комбайн.

Домой возвращался, обремененный фактами.

Григорий Иванович налил себе в чашку с отбитой ручкой холодного кваса.

— Не интересуетесь? — спросил он гостя, мужчину крупного, но усохшего от постоянной беготни, забот, недовершенных планов. Может быть, у него и сейчас в мыслях был очередной зарез. Он обгорел и закорявел, но все-таки это был доподлинный прораб, чья подпись в нарядах — последняя инстанция. — Или квас теперь пьют только старики? — продолжал хозяин.

— Он, наверно, и в столовую-то не успел забежать, а ты его квасом, — сказал Славка.

— У вас тут забежишь.

Прораб простецки улыбнулся и полез в дерматиновый портфель за свертком.

— Вот захватил с собою. А квасок и у нас заваривают.

— Тогда и мы пожуем, хоть дневного времени и жалко. Всю работу не переделаешь. Прибери-ка верстачок.

Славка вмиг прибрал. Постелил газетку.

— Лучку, огурчиков принеси. Может, еще чего-нибудь, что попадется.

Не успел гость расположиться на одной из табуреток и развернуть свой пакет, как Славка возвратился. Ему попалась целая сумка снеди.

Бутылок, к удивлению, не было. Без команды не осмелился.

Гость окинул забитый харчем верстак.

— Грех портить такую закуску, — сказал он с прежней открытой улыбкой. Было в нем что-то доступное, без вывертов. Он вытащил пятирублевку и подал Славке.

— Какой-нибудь некрепкой.

— Я по-быстрому, — проговорил Славка, не подав и виду, что у него бар ломится от бутылок всяких цветов.

Вернулся он, поставив бутылку яблочной на верстак и аккуратно отдав сдачу. Никакой самодеятельности. Что говорят старшие, то и делает. По такой снеди бутылка цветной на четверых мужиков показалась что слону пельменя.

— Что же мы вас будем опивать? — сказал Григорий Иванович.

Он кивнул сыну.

Славку не нужно было учить. Скоро на верстаке высилось обильное подкрепление.

Тут и разговор стал вязаться. Илья Иванович (так звали прораба) сказал, что ему еще нужно заглянуть к дочери на квартиру. Учится на швею. Не прошла в институт по конкурсу.

— А неизвестно, кому повезло, — заметил Славка тоном человека, убежденного в том, что он-то знает, где высиживают бездельников.

— Может, оно и к лучшему, — поддержал Григорий Иванович. — Глядишь, к ней на какую-нибудь нынешнюю одежонку за месяц будут очередь занимать. А бумаги пусть пишут те, у кого к ним тяга. Бумаги будут выходить круглее.

— Да я вот тоже самое жене толкую.

Григорий Иванович попросил Славку погонять воздух. Тот включил лопушистый вентилятор. На всех снизошел ветерок.

— А все-таки дельно ты с цементом присоветовал,— сказал прораб.

Славка пододвигал ему, как необедавшему, то одно, то другое.

— А то бы до сих пор фундамент заливали.

Прораб не знал, что Славка сам потолковал с кем надо. на растворном узле, но ему шепнули, чтобы хлопотал прораб, всегда можно сказать, что помогали не Славке, а пекарне. Гость налил всем по полной.

— Если подумать, сколько силы пропадает. А все отчего? Умелого человека не отделяют от неумелого, — сказал Григорий Иванович. — Кто и смог бы сделать, так ему такую расценочку выберут, что он через неделю бросит. А накинули бы за сноровку, глядишь, и нам бы там нечего было делать — своими бы силами обошлись. Не такие уж мы искусники.

Славка недовольно взглянул на батю. Григорий Иванович к нему даже не обернулся. Гостю полюбилась такая откровенность.

В гараж позвонили двумя короткими. Славка открыл.

Вошла Татьяна. Ни словом, ни взглядом не выразила удивления. А было чему удивляться: в гараже да еще в светлое время и застолье! Неслыханно.

— Вот и мне облегчение. Не готовить ужин.

Я ждал, что свекор, услышав голос невестки, по обыкновению скривится. Извините. И намека не было на лице. «Видите, какая у меня невестушка?»

— Присаживайтесь с нами, — пригласил прораб, оглядывая ловкую быструю Татьяну. Брюки на женщине были ему не в диковину, может, и дочка ходила в таких же.

— Потребляете? — спросил гость, кивая на бутылку.

Татьяна вопросительно взглянула на мужа.

Славка сам налил ей. Он принес посуду вместе с

бутылками. Она только пригубила. Я подал ей ломтик буженины, до которого она не могла дотянуться.

«Ты звонил и повесил трубку, ты испугался», — сказал мне ее презрительный взгляд. Больше она уже не удостаивала меня вниманием.

Во дворе били в домино и кричали «рыба».

— Бьют, — сказал Григорий Иванович.

— В детсаду карусель сломалась, — сказал Славка. — Все дети со двора катаются, за ограду лезут.

— Пусть катаются. Я завтра погляжу.

— Сторож гонит их, а они кричат: «Это дядя Гриша из нашего дома сделал».

— Подшипник, наверное, подносился. И яблони опрыскать надо. Тля появилась.

— Завтра вечером, по холодку. Ты-то уедешь?

— Не знаю. Дело в городе.

Детсад выстроили на месте снесенных частных домов. Остались плодовые деревья. Никто Замылиных не заставляет за ними ухаживать.

— Дети со двора лазят за яблоками, — снова пожаловался Славка.

— Это Антошка их водит, — поддержала Татьяна супруга.

Григорий Иванович ласково взглянул на нее. Сорит деньгами, всякую бездарь угощает, красуется перед ними, раскатывает на машине, на один бензин не зарабатывает, а замашки будто у путевой. А вот Славка ее любит. Попробуй все это развяжи.

— Значит, я так жене и скажу: неизвестно кому повезло. Нужно дело по душе искать, чтобы и удовольствие, и продовольствие.

Прораб был доволен, что пообщался с мастеровыми в семейной обстановке. Одна польза. Григорий Иванович тоже был рад свести дружбу с таким человеком и даже пошутил насчет дружбы, которая и после нас будет: станут участочки дачные нарезать на Луне; кинулся, а тебе ответствуют, дескать, остались только на темной части, на светлой нету. И вдруг ты вспомнил: у тебя же Иван Иваныч при должности. С одной ложки ели-пили. Ты к нему. Глядишь, и отыскался тебе участочек на самой светлой стороне, и метеоритов нет; так, одна пыль, на земле снег крупнее. И все по-хорошему обошлось.

Гость заливисто смеялся. Смех был хороший, искрен-

ний. Насчет лунных участков он еще не прикидывал, хотя и помоложе Григория Ивановича.

На Татьяну я не смотрел, она тоже на меня, теперь ведь в почете мастеровые. Да и что я тут сижу? Может, Славке с прорабом политику нужно делать, а я им глаза мозолю.

Скромно поблагодарил хозяев и отбыл. Никто меня не удерживал. Зачем я нужен им?

9

За гулким большаком, у самого леса снова ожил однорукий кран. Пока он сиро торчал вдали, как большое засохшее дерево, я жалел его. Теперь он деловито снует возле кирпичного остова, обучая меня экономным движениям: от середины стрелы к ее концу скользят тонкие тросы с тяжелым грузом, сама стрела поворачивается вокруг своей оси, и одновременно весь корпус крана сноровисто катится по рельсам к дальнему углу постройки.

Если бы раньше я столь же планомерно и непрерывно трудился над курсовым проектом. то не гнул бы теперь над ним спину по двенадцати часов. Я не раз принимался, к радости матери, за курсовой, отец внимательно поглядывал на меня в такие минуты, зная, что завод у меня скоро кончится. И он бывал прав. Теперь мне отступать некуда, да я уже и разозлился и чувствую, что труд завершу. Даже на зов отца, который приготовил обед, медлю идти, так врылся.

Впрочем, я тут же и встаю, отец не мать, второй раз не позовет, через пятнадцать минут со стола все будет убрано и стол будет насухо вытерт марлевой тряпкой, которую он повесит сушиться на теплую трубу у газовой плиты. А на столе уже будет раскинута газета «Гудок» с листками на ней, и отец продолжит раскручивать вечный двигатель.

Натянув на пятки смятые задники шлепанцев, я резко шагаю в кухню. Уха из рыбных консервов. Мечта туристов. Мы все туристы, мы все куда-то движемся, нам кажется, к своему лучшему, к тому, что нам обещано в розовом детстве.

Что до картошки, то батя жарит ее великолепно, подденешь вилкой два румяных кружка — будто колесная пара без оси. Огурцы он режет в длину.

— Пальто, наверно, продали. Ждать не будут, — сказал я.

— Я попросил отвесить. Одна женщина посодействовала. Из бюро технической информации.

— У тебя в бюро знакомые?

— Так, по случаю заходил.

Никакой случай привести отца в бюро технической информации не мог. Это не в ПТО, это даже не в отделении, это в самом управлении дороги.

Вчера к нам наведывался Игорь Николаевич, и они сидели с отцом над бумагой. Расстались веселые.

— Как приставка марки «Мыло-1»? — спросил я Полозова.

— Все лето бегала. Золотые руки у деда.

И вдруг легонькая-легонькая тень стерла улыбку.

— Припомнил я его. Встречаться приходилось. Колхозу дизелек предложил, а с дизельком вышла история.

Поинтересовался как движется курсовой проект. Я сказал, что по графику, и он отбыл.

При матери бы не пришел. Обещал бате заглянуть и вечером. Будет на колесах, куда-то собирается вместе с Ольгой Федоровной, но попутно завернут сюда. Хочет, наверное, взглянуть на то, что батя за день набросает без него.

Со мною на излияние отец скуп, подозревает, что мысли у меня с матерью о вечном двигателе одни, хотя и сам еще не знаю, одни ли. Не стесняюсь ли я сказать, что мелодия батиной песни мне приятна? Да и моя дружба со Славкой отцу нерадостна. Прямо об этом не говорит, но всякий раз, когда я иду к мастерам, он задумчиво смотрит мне вслед.

Наскоро обедаем, каждый рвется к своему. Отцу еще бежать за молоком, ко второму привозу. Бутылки со штампом завтрашнего дня, молоко можно не кипятить, оно не скиснет. Отец не терпит кипяченого.

«Не легковато ли будет подниматься с места?» — спрашивает отец.

Я соглашаюсь, что легковато.

Он становится на стул, отвязывает за окном сетку с салом, отрезает брусок с мясной прожилкой. Нарезает тонкими листиками. С черным хлебом — лакомство.

А потом чая по целой кружке. Берегись, курсовой!

Вешаю сетку обратно. Он в коридоре надевает свой казенный ватник и гремит молочными бутылками.

С нетерпением жду, когда щелкнет за ним замок.

После долгожданного звука я сижу еще несколько минут, давая отцу спуститься хотя бы на один этаж, а потом пробираюсь в спальню.

Все бумаги перед уходом он перенес из кухни сюда. Лежат на кровати.

Проект информационного письма.

Всем. Всем. Всем. Опыт осмотрщика Щепкина П. П.

Без тоски нельзя читать, сплошные термины. Папаня проверяет их точность по раскрытой книжке, то и дело зачеркивая привычные для него и надписывая официальные. Но к смыслу пробиться можно. Целое житие буксы. Сначала поиск изъянов с ходу, пока громыхают у самых ног колеса, а ты прослушиваешь вагоны, принюхиваешься и, заметив скрытую порчу по неуловимым, выстраданным признакам, засекаешь их, нацарапав номер вагона в блокноте. Продолжаешь провожать состав, пока он внезапно не оборвется перед тобою последним вагоном.

Потом ты должен увидеть то, чего еще нет, но что проявится через сто — двести километров, где-нибудь в поле, где ни волка, ни человека, где машинисту в случае беды никто не поможет. Для сего раздел тайных примет на деталях тележки, на колесных парах, на корпусе букс.

И лебединая песня — раздел логических примет. Он самый обширный.

Но этим дело не кончается. Есть и резюме. Не торопи себя, не скачи к самому приметному, не срезай углы. Вот проверенная очередность — семь позиций, тогда ничего не упустишь, тогда не пропадет и секунды времени. Подписывая машинисту справку об исправности тормозов, ты не будешь дома скорбеть душой и ждать напасти. Вдоль состава нужно идти, как охотник, забыв беспечность. Тогда не будет нечаянностей на стальном пути.

Множество пешеходных тропинок лежит вдоль полотна, они бегут от станции к станции, от площадки к площадке, извиваются то у самой насыпи, то в полосе отчуждения, но нигде не сливаются в одну. Люди ходят короткими путями, по небольшим отрезкам туда и обратно. Как в огромном городе, знают два-три квартала, а больше им не нужно. Только магистраль простреливает землю из конца в конец. И папане лестно служить на этой главной улице.

В блокноте уже нет новых записей, а старые читаны и перечитаны много раз.

Я сложил листки в прежнем порядке, закрыл блокнот и возвратился на свое гнездовье.

Игорь Николаевич слово сдержал и заглянул к нам, когда горбик солнца торчал над крышей деревообделочного комбината. Непривычно прислушивался к визгу пилы. Звук откуда-то вытаскивали, но он постоянно рвался, и все начиналось сначала.

Я закрыл форточку, звук угас. Теперь слышался только гул на окружной.

Когда Полозов стоял в кухне с бумагой и карандашом в руках, раздался звонок. Отец думал, что за ним с работы, он часто подменяет заболевших или взявших расчет, и крикнул, чтобы я открыл, — не хотел терять драгоценной минуты.

Это была мать.

Ужаснулась. Везде у нас пыль. Несвежий воздух. Вещи не на месте. Не раздеваясь, приоткрыла ванную. Боже мой, теперь сутки нужно отмывать! На кафеле брызги, коврик сбит в сторону, раковина умывальника мутная.

Вернулась к вешалке, увидела пыжик Полозова на том месте, где должна была лежать ее шапка. Отпихнула пыжик на самый край, так что шапка дала сильный крен. Поправлять не стала. Я тоже.

Но уже больше ни о чем не говорила: мог услышать разложенец. Жалела и о том, что сказала. В конце концов, не такая у нас пыль, не такой беспорядок, как он может подумать. У его захватчицы в доме не чище.

— Что они там делают? — одними губами спросила она.

Я показал, что пишут.

— Ты подожди, не раздевайся, — неожиданно сказал появившийся в коридоре отец. — Игорь Николаевич может захватить нас в город. У нас там дельце.

Видя, что мать готова сказать резкость, подошел к ней, приложился к морозной щеке с обычной своей ребячьей улыбкой и стал шептать что-то на ухо.

— Мне надо переодеть платье и причесаться. Не поеду же я такой.

О том, откуда деньги и почему таинственность, — разговор впереди.

— У него совсем нет времени.

— Подождет.

Я вызвался почистить ей сапоги. Она сбросила их и побежала мыться в ванную, забыв обуть домашние туфли.

С каким удовольствием я наводил блеск на головки и голенища! Такими они не были и новыми. В прихожей густо запахло гуталином. Прошелся по ним бархаткой, и кожа засверкала еще ярче. Надо бы подкинуть набойки, но это не проблема. Этим всегда занимается батя. У него и сапожная лапка, и палка с железной нашлепкой, чтобы загибать гвозди, и нож с лезвием наискось, и кусочки подошвенной кожи, и напильник, чтобы заравнивать края набоек, и даже воск, чтобы края блестели, как новые.

Я еще раз гляжу на каблуки. Потерпят.

Если обувь и шапка хороши, говорит мать, то и в телогрейке можно выйти на люди. Но по тому, как спешно и суетливо она собирается, можно сделать вывод, что поговорка эта верна лишь отчасти.

Я тоже бегу одеваться. Ведь в этом сюрпризе есть и моя доля. Я хоть и сказал, что даю в займы, но когда же мать отдавала долг?

Полозов из кухни ступил в коридор, готовый к сложной дипломатической встрече с матерью; правда, он всегда выходил из таких встреч непобежденным, но они требовали искусства. А сегодня был счастливый день и для него. Мать заперлась в ванной, и Полозов с полным основанием обрел право сказать отцу, что подождет всех в машине, и удалился, не войдя в соприкосновение с неприятелем. Заметил ли он, что пыжик лежал набоку?

В машине мать была неузнаваема: так приветливо улыбалась и Полозову, и его супруге, сидевшим впереди, что можно было подумать, будто встретились закадычные и отправляются пировать. На Ольге Федоровне была шуба, не новая, но и не старая, а как раз такая, чтобы не бросаться людям в глаза и не наводить их на догадки, что шубу только что вытащили из сундука. Шапка тоже была меховая, приятная, но тоже не новая, а такая, чтобы выглядеть дорого и прилично.

— Вещь по душе выбрать трудно, вы не торопитесь. Я с одного раза никогда не покупаю, все кажется, что завтра выкинут лучше, только стоит подождать.

— А потом жалеешь, что упустила вещь, и берешь

то, что хуже, — заметил Полозов, не поворачивая головы.

Захватчица беспечно призналась, что случается и такое.

«Тебе-то, ветрогонке, ничего не стоит ошибиться, не пройдет двух-трех месяцев, как можешь купить новое», — обозначилось у матери во взгляде и в повороте головы, но Ольга Федоровна не показала вида, что поняла это выражение, знала: нужно время, чтобы сгладить все углы.

Мать не столько рада, сколько озабочена, отец серьезен.

Он нечасто выходил в безрельсовую жизнь, где не слышалось ни длинных, ни коротких гудков, не махали флажками, не стучали колеса, не лязгали сцепленные на трудную совместную дорогу вагоны, но если уж выходил, то и здесь любил и график, и надежную сцепку.

Не стал ли я ему завидовать? Не результатам его усилий, нет, — они малы, а постоянному удовольствию от самих усилий, от веры в то, что без них ему нет века?

Приглашать Полозовых с собою в магазин мать не собиралась. А Ольга Федоровна ждала. Ей так хотелось принять участие. Каждое слово ее намекало: а почему бы и мне не пойти с вами? «Чтобы дома обсуждала, припоминая каждое слово?» — был ей ответом ласковый взгляд матери.

Возможно, мать и сама чувствует свою неправоту и особенно то, что эту неправоту все стараются снисходительно не замечать. Она, пожалуй, и готова была смягчиться. Но как? Неужели вот так сразу и сказать, что была не права?

Так и расстались у подъезда универмага.

Вместе с густым людским потоком поднялись по стертым ступеням на второй. В отдел стояла очередь. Никакой торжественности момента. Больше было таких, кто пришел не покупать, а покрасоваться на себя в новом или присмотреть фасон. на будущее. Эти и без того выглядят привлекательно. Когда они удалялись, мать провожала их неприязненным взглядом.

Другие примеряли вещи упорно, одну за другой, к ним подходили продавцы, подавали советы.

Вошли и мы, успев почувствовать испарину. На этаже было жарко и душно.

Мать примерила одно за другим три дорогих пальто, они были хороши, но, как только она их надевала, пальто угасали от встречи с ней, от ее небрежного. недовольного выражения, от ее неодобрительных жестов при виде себя в зеркале.

Отец взял ее за руку.

— Не нужно сердиться.

«Это ведь не в пальто причина, а в тебе самой».

— Эти фасоны вам очень к лицу, — сказала пожилая продавщица.

Когда она отошла, я тихо предупредил мать, что вещи улыбаются только в ответ на улыбку.

— Вы с отцом чудаки, — сказала она. — Я правда злая? Мне ведь радоваться надо.

И улыбнулась. Не одними губами, как всегда, а в полную силу: и глазами, и каждой черточкой усталого лица.

С этой минуты все и наладилось.

Она с таким достоинством прохаживалась то в одном, то в другом пальто, так заманчиво и картинно их надевала и снимала, что покупатели накидывались на то, что она бережно и с сожалением возвращала на место.

И тут хитрый батя отлучился. Оказывается, главное от матери он держал в секрете, он пришел с женщиной начальственнного вида. Она пошепталась с пожилой продавщицей, и та сразу же послала девчонку в торговой форме в неведомые глубины отдела, за портьеры. Оттуда ушедшая вернулась с пальто, которое отвесила на вешалку проданных.

Пожилая женщина подошла к матери и вежливо попросила примерить в о т э т о.

Они узнали друг друга: мать и пальто.

Неторопливо мать понесла его в кабину, бережно держа чуть-чуть поодаль от себя. Повесила так, чтобы ни одна ворсинка пышного воротника из черно-бурой лисы не помялась.

Сняла свою новую шапку из такого же до удивления сходного по оттенку меха, положила на стул в углу.

Поправила перед зеркалом волосы.

Теперь она должна была познакомиться с пальто и подружиться. О том, что они расстанутся, не могло быть и речи, мать почувствовала это еще тогда, когда несла его в кабину под взглядами покупателей и продавцов.

Сколько она думала о том, какое у нее будет пальто, и не угадала. А все было предопределено еще тогда, когда она выбрала себе шапку, но до сегодня она об этом не знала. Шапка и воротник порознь существовали друг для друга и только сейчас, после тоскливых скитаний по базам и складам, встретились, чтобы никогда не расставаться. Они хороши и поодиночке, но вместе им нет цены. Их нельзя различить по оттенку, они одинаково скромны и благородны. Они бросают отблеск великолепия и на складки драпа, вольно стекающие вниз.

Мать вышла из кабины не столько затем, чтобы показаться нам с отцом, а чтобы ее союз с пальто увидели все. Отныне она переводила себя в другую категорию людей, тех, кто мог твердо ступать по земле, смело, по-хозяйски смотреть вокруг, не боясь встретить низко оценивающий взгляд; теперь не нужно было отводить как бы нечаянно глаза, приметив издали знакомую, можно остановиться и поговорить, можно и притворно посетовать на судьбу, показывая, будто не замечаешь, как знакомая внимательно тебя разглядывает, как удивлена твоей общительностью и веселым нравом, казалось бы давно пропавшими. И твоим пальто.

После уплаты по чеку у отца осталась купюрка, и он решил израсходовать ее на такси. Пошли на площадь и стали в очередь, хотя скорее могли бы уехать автобусом или от вокзала электричкой.

Наконец и мы у борта с шашечками.

Отец открыл матери дверцу и посадил на сиденье рядом с водителем. И только тогда сели мы.

— Откуда у тебя деньги? — спросила мать дома, бережно упрятав пальто в шкаф и став прежней, какой знала себя и какой знали мы ее.

— Я уже полгода старший осмотрщик.

Ее муж полгода мастер, можно сказать, ИТР, а она только сейчас об этом слышит. И никто об этом не знает у нее в отделе. Ни одна женщина!

— Так вот почему в доме кое-кто приветливей, чем прежде!

«У него под началом люди? Как же он будет ими руководить?»

На лице матери было написано недоумение.

Ее, пожалуй, успокоила мысль, что батя — практик.

10

Сижу утром на скамейке у палисадника, гляжу на классики, нарисованные мелом на асфальте, и мысленно прыгаю сначала «лягушкой», а потом, тоже мысленно, гоняю по квадратам банку из-под леденцов.

И вдруг слышу веселый стук каблуков: через ровные промежутки, с одинаковой четкостью. Приятно слышать, как он приближается. Не подымаю головы, стараясь угадать: из нашего или соседнего дома? Посмотрю вслед, когда пройдет мимо.

И вдруг четкий ритм оборвался. Меня трогают за плечо.

Татьяна.

Возвращается домой из хлебного с буханкой темного бородинского в длинных тонких пальцах.

Наши взгляды встретились.

— А я видела тебя, когда проходила туда. Ты заглядывал вот в эту смородину.

— Когда я был маленьким, тут обитал шершавчик, сейчас решил посмотреть, не там ли он.

Ветерок слегка поддувал кофту-распашонку, чтобы Татьяна могла взлететь, но она все оставалась возле меня.

Мне хотелось спросить, уехал ли Славка, но я не спрашивал. Она ждала этого вопроса, чтобы не говорить об этом первой.

Я сам удивлялся, с какой неожиданной радостью гляжу на нее. Она видела перемену во мне. Я догадывался, что она должна была ругать себя за прежний тон наших разговоров, за тот служебный телефон, который так вызывающе просто дала мне; за то, что ожидала звонка, словно чего-то решенного, и поделом считала себя наказанной моим равнодушием, но теперь видела мое непритворное удовольствие от встречи.

— Что-то маловато несешь хлеба, это одному Славке на обед.

— Он уехал.

Она догадалась, что меня интересовал не только Славкин аппетит, и была мне благодарна за то, что я избавил ее от необходимости первой касаться его отъезда.

— Надолго?

— На целый месяц.

«Тут уж выбирай: либо муж, либо тугрики», — мог бы я сказать ей, но все слова, которые раньше я произносил при ней, были только по видимости правильными, а на самом деле постоянно казались мне какими-то ненужными, половинчатыми.

Слова были сами по себе, а ее живое лицо и подвижный, не знающий лени взгляд — сами по себе. Слова разбивались об ее легкую природу. Я чувствовал, что нам не нужно ни о чем говорить, что нам лучше побыть рядом, и это будет правдивее того оживления, какое мы создавали с помощью слов; но без предлога побыть несколько минут вместе нам никак было нельзя, и мы обменивались легкими словесными передачами, пока мне это не надоело.

— На лодки никакой очереди, — сообщил я, удивляясь определенности своих слов и чувствуя, что в душе у меня такой определенности еще нет.

Она удивленно окинула меня своим быстрым взглядом: никакой словесной нити от недавнего разговора к этому не было.

Я видел, ей очень хотелось сказать, что теперь ее очередь повесить трубку, что она рада отплатить мне по заслугам. Но ей недоставало какого-то моего слова, жеста, может быть, какого-то оттенка во взгляде, чтобы сказать резкость, как недостает последней капли в переполненном стакане, чтобы сила внешнего натяжения прорвала выпуклую оболочку и жидкость пролилась бы. А я молчал, чтобы и в звуке моего голоса она не могла найти себе опоры.

В привычный сложный гул машин на большаке влился громкий разлаженный рокот, он приближался, звуча все выше и выше, пока не стал затихать, удаляясь к повороту.

— В самом деле, никакой очереди, — подтвердил я наконец, и сказал себе, что одному в лодке определенно скучнее. — Я прихвачу тебя пониже церкви, там хороший спуск.

— Ты долго думал? — уронила она и повернулась с очевидным намерением продолжать свой путь.

— Все-таки я там немного подожду, — предупредил я вслед.

Она язвительно посмотрела в ответ и застучала, удаляясь, каблучками.

Я ждал долго, дважды уезжал и возвращался.

И она пришла.

У нее был чистый взгляд и спокойная определенность на лице, точно никаких сомнений совсем недавно не было. И ровный голос. Удивительно ровный. Без нарочитых интонаций, привычных для нее. Какая-то непугливая уверенность в себе. Никакой вертлявости. Она ли это? Славка и Григорий Иванович не узнали бы ее. Дома она постоянно показывала свою независимость, постоянно пребывала в оборонительной позиции. А теперь она была подлинной. И я не знал, какой тон с нею взять.

Она села на переднюю скамью, положив у ног пляжную сумку, я отпихнул с отмели лодку и развернул носом по течению.

Я греб, а сам смотрел на ее красивую, покрытую ровным загаром руку, опущенную в воду. Она видела мой взгляд и продолжала держать руку за бортом, пропуская влагу между пальцами.

«Ты думаешь о Славке? — вопросительно взглянула она. — Об этом не нужно думать. Об этом подумала я. У меня есть все доводы. Самые убедительные».

Это явственное и определенное право Татьяны поступать так, как она теперь поступала, успокоило меня. Я даже не пытался оживлять в себе прежние мысли о ней, которые жили во мне всегда, отодвинутые в самый потайной уголок, где много лет ждали своей минуты, ничему и никому не мешая.

«А нужно ли все это обдумывать, когда можно испытывать такую радость от ее глаз, от солнца, от ощущения силы в мышцах, от скольжения темных рыб на небольшой глубине, от скрипа разношенных уключин?»

Мы перекидывались замечаниями о том, что видели вокруг себя на воде и по берегам. Чумазый пароходик, который тащил баржу с песком, подавая, как большой, звучные сигналы; укутанная строительными лесами старинная церквушка, новая голова которой и блестящий крестик уже сияли над высокими подмостьями; незнакомый белый город, неведомо когда выросший на левом берегу и теперь сопровождавший нас на всем пути; крупные чайки, ходившие по песчаному берегу, будто белые куры, помогали нам не молчать.

— Клювы у них длинноваты, — сказала она.

— Пожалуй, — сказал я.

Мимо нас порою шли и большие чайки-парусники

с черными номерами на полотне, они легко обгоняли нас и таяли у дымного горизонта.

Я все еще испытывал чувство не до конца пропавшей стесненности оттого, что не находился разговор, который бы не заставлял нас невзначай отводить взгляды, искать картин, не только не нужных нам, но и мешавших нашей радости узнавания друг друга после многолетней разлуки.

Мы безмолвно условились делать вид, что этот бессвязный обмен фразами нам интересен, и ждали, что настоящий разговор в конце концов наладится.

— Вот здесь, под нами, был лягушатник, где мы купались до четвертого класса, — сказал я, прикинув расстояние до берега, до крутой булыжной улочки, сбегавшей к воде между двумя буграми.

«Мы едем в нашу юность, чтобы вспомнить себя теми, какими были и лучше каких никогда не сможем быть; чтобы узнать то, что ожидало нас и не совершилось. Кто не хочет узнать, каким могло быть счастье?

Мы ехали в нашу юность.

Я радостно улыбнулся своему открытию. Татьяна тотчас заметила перемену во мне и обрадовалась ей. Может быть, она подумала, что я наконец одолел сомнения, которые недавно заставили меня повесить трубку?

Она плеснула мне на грудь и плечи водой, готовой закипеть от нагретой солнцем кожи.

Я согнал стрекозу, которая все норовила и норовила сесть на ее голое колено в капельках воды. Я положил на это место ладонь, и все мысли о неловкости исчезли, все недавние сомнения показались смешными и ничтожными; все, в чем я сомневался, уже не тревожило меня.

— Я думала, что стрекоза миленькая, а у нее такой огромный рот, — сказала Татьяна, не отнимая моей руки. В другой я держал пойманную стрекозу, которая все еще некстати раскрывала свой большущий рот. Я отпустил ее. Она устремилась прочь, расправив свои целлофановые крылья.

— Они поедают даже головастиков, — похвалился я наблюдениями, полученными в детстве.

— Ты видел это на озере? — с подозрительным видом спросила Татьяна. — Какая гадость!

Она отсела на край скамейки, подальше от меня и подобрала под себя ноги: ведь я знал привычки болотных обитателей.

Я почему-то стал думать с Славке, о его решительных привычках и постоянной уверенности в себе, о том, что он любит наступать на ватные жгуты тополиного пуха, на гусениц, ползущих по мостовой.

По мосту впереди нас бежала красная спина трамвая. Он двигался туда, откуда мы ехали, скоро он побежит по берегу вдоль белого города.

Она отыскала взглядом то, что привлекло меня.

— Как рыба с крючком в спине, — сказала она, показывая на торчащую вверх петельку трамвайной дуги.

Я молча кивнул.

И вдруг ее лицо осветилось беззаботной улыбкой, и она спросила веселым тоном:

— Не тот ли это трамвайчик, на какой ты цеплялся? Помнишь?

Я был согласен оставить грустные мысли о ее грустных мыслях. Помнил ли я? Как же, очень хорошо помнил.

— Ты ведь так и не сказал тогда, как добрался до дома. Может, сейчас расскажешь?

Нет, я и сейчас не расскажу.

На Восьмое марта в перерыв между танцами я и Татьяна с подругой побежали в буфет, вечер был в заводской столовой, куда мы проскользнули вместе с теми из поселковых, кто уже работал. Я чувствовал себя взрослым: через какие-то два — два с половиной месяца в армию.

Мать дала мне три рубля, невиданную сумму. Как же, два года она не увидит меня! Об этом только и речь. Отец говорил: не надо баловать, деньги не лишние, она сунула потихоньку. Раздетым я сбегал в гастроном.

Татьяна с подругой сидели за столом напротив и смотрели, как я наливал. На закуску, помню, был бутерброд и какие-то консервы.

И вдруг подсел Славка. А я-то думал, что его не пустили. Я налил ему, потом еще кому-то капнул, и все-таки мне одному остался почти полный.

Славка отпил глоток, поперхнулся, замигал глазами и отставил стакан в сторону.

Кажется, я только и ждал его позора.

Они думали, что я сразу умру. А я пожирал хлеб и консервы обожженным ртом, думая, что умру не сразу, а чуть-чуть позднее. Перед глазами поплыло, я по-

чти не слышал шума, стоявшего в буфете, будто в драке кто-то из лесхозовских ударил меня по голове штакетиной.

Потом Татьяна мне говорила, что я даже танцевал. Не помню.

Помню лишь, как шел зигзагом к остановке трамвая.

Такого холода не было и зимой. Весь день валил снег, его осилили только к вечеру, сгребли в большие кучи у края мостовой. Они-то мне и запомнились, я должен был все их преодолевать.

Сесть в переполненный вагон не мог и голыми негнущимися руками (перчатки потерял) прицепился на колбасу, вагон еще старый был, не то что нынешние. Трамвай, казалось, скользил не по рельсам, а по зыбким волнам, вагон то клало набок, то выпрямляло, то приподымало, то кидало в сторону, но я с веселой самонадеянностью одолевал все эти коварные броски, пока наконец не почувствовал, как ослабевают руки. Несмотря на то что я не владел и половиной своего рассудка, я до ужаса отчетливо помню, как падал, как вагон отделившись от меня, пошел вперед, а я лежал совсем рядом. Снизу я увидел его колеса и стенку и, лежа, думал, что я уже неживой, потому что человек умирает не в одно мгновение, а может лежать перерезанным и сознавать себя живым несколько секунд. Свет вокруг меня погас.

«Боже мой, какой молоденький и что с собой делает», — услышала мыслящая половина моего тела женский голос совсем рядом.

К удивлению, живыми оказались обе мои половины, меня отбросило на повороте в кучу снега и крепко спеленало там на те несколько секунд, пока сцеп прогрохотал мимо.

Утром дома я притворился, что все еще болен, чтобы оттянуть гадкую минуту объяснений, хотел остаться еще хоть полчаса в покое и неподвижности, с мыслями, уносившими меня к лучшим минутам в прошлом: к тому, как меня хвалили, когда я со старшеклассниками работал в совхозе в Домбае, к счастливому походу в горы тайно от учителей, к пламени костра, разведенному в горах, чтобы зажарить взятую с собою курицу (ее ощипали, но не догадались выпотрошить). Мысль не могла оставаться на мучительной сегодняшней точке, она искала утешения. Я думал то уехать на БАМ, най-

ти там героическое дело и вернуться оттуда знаменитым, то отправиться в деревню, работать там на тракторе или комбайне и получить орден, то пойти учиться в институт и заниматься всю жизнь размышлением и наукой.

Слишком большой был выбор и слишком интересно было видеть перед собою такое обилие дорог, чтобы сразу остановиться на чем-нибудь одном. Хотелось лежать и лежать в постели, чувствуя себя больным, и подольше держать в мыслях это счастливое и разнообразное будущее.

В самом деле больным я чувствовал себя не каждую минуту, а как только пытался поднять голову.

Я уже не сомневался, что будущее, которое наступит после того, как я отслужу, будет счастливым. Все плохое, что со мною случилось, совершил другой человек, не я нынешний, а тот, которого уже больше нет и никогда не будет, и что этот прошлый человек не имеет ко мне, нынешнему, никакого отношения, кроме того, что они соединены в одной физической сущности. Другие могут считать этих двух человек одним лицом, но я не могу на людей обижаться, потому что себя прежнего я осуждаю больше, чем другие, и не желаю иметь с ним ничего общего.

Эти мысли помогли мне перенести позор, и все-таки весь март мне казалось, что не только дома, но и все вокруг знают о том, что со мною случилось.

— Может, ты расскажешь?

Когда я с улицы не вернулся в столовую, Татьяна с подругой подумали, что я пошел на автобусную, и бросились туда. «Он же замерзнет!» И только с автобусной побежали на трамвайную, но увидели меня уже на колбасе, отбывающим домой.

— Доехал неплохо. На свежем воздухе.

— Если бы не воскресенье, ты не пришел бы в школу. Ты не знал, как выйти из столовой, и все шел на кухню, пока ребята не подвели тебя к двери.

— Минута слабости и размышлений. На свежем воздухе мой ум обострился.

Я произнес эти слова с огромным убеждением, они были чистой правдой. Обострился не на один день.

Татьяна улыбнулась теплой улыбкой.

«Не будь меня, разве ты выпил бы? Мог прыгнуть и с железнодорожного моста».

И вдруг, погрустнев, сказала:

— Поумнел ты ненадолго. Иначе сидел бы сейчас у палисадника.

Что это? Не намек ли на то, что нам пора повернуть обратно?

Я и сам уже не раз подумывал об этом, но чем настойчивее я напоминал себе, что надо повернуть назад, тем определеннее чувствовал, что повернуть назад невозможно. Какое солнце, какая ширь, какой блеск и красота вокруг, какое небо, редкие птицы кажутся в нем ничтожными точками!

Часто ли все это открывалось мне, как теперь? Нельзя всерьез принимать ее шутки. Можно ли отказаться от того, в чем убедил ее сам и во что она уже поверила?

Вернуться назад, на лавочку?

Мысль о лавочке у палисадника совершенно убедила меня в том, что возвращаться назад не следует.

И я отдался движению, вскидывал весла, погружал их на нужную глубину под нужным углом к борту, отворачивал от шедших мне навстречу или обгонявших нас прогулочных теплоходов, переполненных веселыми людьми, брал, когда требовалось, в сторону или вовсе уходил с фарватера и в то же время ни на минуту не терял из виду ее лица, хотя как будто и не смотрел на него.

На нас, как на всех людей в лодчонках, с теплоходов взирали с жалостью.

Татьяна поворачивала в сторону уютных палуб свою красиво поставленную головку и провожала их взглядом человека, занятого своими мыслями, которые уже одолевала.

Один теплоход мне запомнился. С верхней палубы некрасивая, начавшая полнеть девушка внимательно смотрела на Татьяну, на ее изящную позу, которую Татьяна принимала с приближением теплоходов. Татьяна, поймав на себе ее взгляд, подарила ей одну из своих милых улыбок, и девушка на верхней палубе угрюмо отвернулась.

Парень, стоявший ближе к борту, послал Танюшке воздушный поцелуй, и бросил ей большущий оранжевый, как солнце, апельсин, который она ловко поймала, слегка двинув в знак благодарности поднятыми пальчиками. Мне хотелось выбросить апельсин в воду. Я ждал, когда теплоход наконец покажет нам тупую

корму. Как только апельсин был съеден, а лодочки кожуры отстали и скрылись из виду, к ней опять вернулась беспечность.

Город был уже далеко позади.

Мы плыли в тени высокого берега, просверленного тысячами ласточкиных гнезд. Птицы влетали в узенькие норы, успевая вовремя сложить крылья и скользнуть туда без промаха. Скоро то одна, то другая выпархивала обратно и терялась в огромной рассеянной стае, чтобы носиться вместе со всеми над водою по самым немыслимым ломаным, преследуя невидимую съедобную жизнь, которая от этого из века в век не иссякала.

Стена берега была такой высокой и отвесной, что нам обидно было ползти, подобно муравьям, у самой подошвы ее. Татьяна этого не могла перенести.

— Я бы туда залезла, если бы нашлось за что зацепиться, — сказала она.

Я почувствовал, что вознестись наверх она не может по моей вине, и стал выискивать местечко, где удобно было бы подняться.

Когда что-нибудь очень хочешь, оно приходит. Я увидел ложбинку, где вешней водой промыло спуск.

Лодку я вытащил на тропинку у самой стены, и мы вскарабкались наверх, помогая себе руками.

Даль отсюда была видна во все стороны.

Татьяна с чувством победителя окидывала взглядом весь окрестный простор, потом легла на траву и стала смотреть вниз на реку, на луга и поля, окутанные голубой дымкой.

Я не стал ей мешать, она думала о чем-то своем.

Я поискал в вышине птицу, чей портрет мог бы повесить в своей комнатушке. Но внизу сновали только бесчисленные ласточки. Ни одна из них для портрета не годилась.

И вдруг в стороне я увидел коршуна.

Он парил над самой водой, словно собирался опуститься на нее, будто какая-нибудь водоплавающая. Так и есть. Мгновение — и он погрузил когтистые лапы в воду. Я-то думал, что вижу необыкновенного влаголюбивого коршуна, а он выхватил из воды рыбу, неосторожно плывшую под самым водным зеркалом, и взмыл с нею вверх. Она резко двигала хвостом в его коричневых лапах.

Я сел на теплый валунок. В траве блестели грубозернистые камни.

Пока Татьяна вглядывалась в заречные дали, я сел на землю, подогнув ноги, и стал бить камнем о камень, чтобы заострить один из них. Прикинул, как бы двинулась моя анкета с самого начала.

Не так-то просто. Сначала раскололся один, потом другой. Я взял новые и стал действовать осторожней, размашистых ударов избегал. Потребовался третий, плоский, чтобы оббиваемый камень не уходил в землю. Самый выгодный удар тот, каким откалывался кусочек с ноготь. Если повезет и заготовка не распадется вдоль какой-то невидимой глазу трещины, то дня за два я мог бы изготовить это опасное орудие.

Стук камня о камень хлестко звучал в тишине. Какая-то живность испуганно зашуршала в кустах и скрылась. В давние годы вот здесь, наверно, этот звук слышали особи покрупнее. Но они недооценили его, и вот теперь их нет.

— Ты чудачок, — сказала Татьяна и погладила меня по мокрым волосам, смоченным мною, чтобы не припекало солнце. Капельки упали мне на щеки и лоб. Она стала смахивать их пальчиками.

Я взял ее ладонь в свою.

— Поедем дальше, — сказала она.

Мы знали, что высадимся на том островке, куда ездили слушать соловьев, когда меня, стриженого, отпустили с призывного на два дня домой вместе с десятком городских: на отправку команды не хватило какой-то бумаги.

Мы тогда с Танюшкой так дурачились на островке, так шумели, так бегали друг за другом, не зная, как спрятать поглубже то серьезное, что мучило и волновало нас, что соловьи, пожалуй, забились в самые дебри.

Но как только наша резвость погасла и мы тихо сели на полянке поодаль друг от друга, соловьи нас простили. Начали робко, будто настаивали голоса, а потом ударили в полную силу, самозабвенно выводя рулады, которые заканчивались трелью.

Но они были слишком счастливыми и самодовольными, слишком много думали о себе, чтобы помочь нам быть смелыми. Я им этого до сих пор не простил. А может, они уже знали о том, что мы не дождались последней капли? Стоило ли таким помогать?

Песчаную косицу острова мы увидели издалека.

Я незаметно, вполоборота повернулся к Татьяне, как будто позу переменить нужно было для поворота лодки, и невидимо для нее смотрел на ее щеку с нежным пушком.

А Татьяна тоже склонила голову, говоря себе, наверно, что так меньше бьет в глаза солнце.

Неожиданно мы столкнулись взглядами и покраснели.

— Ты подглядываешь за мною, — проговорила она.

Тут она вдруг рассмеялась, посмотрела на меня с нежностью, которую не хотела скрывать, и брызнула мне в лицо водой.

Мы продолжали плыть мимо спокойного наружного мира. И было одно только ожидание нового, неизвестного, и надежда, что это давно ожидаемое, вчера пугавшее, а теперь близкое, должно совершиться. И хотелось продлить минуту ожидания и делать вид, что ни у меня, ни у нее нет впереди этого неотвратимого счастья. Хотелось смеяться, резвиться, брызгать на ее округлые желтые плечи водой и самому освежать этой прохладной влагой лицо, горевшее не от солнца.

И минутная тревога: а вдруг это близкое, как и в первый раз, не подчинится нам? Вдруг Танюшка сыграет не свою, а чужую роль?

На полянке душисто вяли подрезанные травы, кто-то забрался с литовкой и сюда, чтобы настричь копешку сенца.

Мы одолели на веслах семь лет.

— Разве они поют и без людей? — спросила Татьяна, прислушиваясь к откровенным соловьиным фразам.

Птицы оставались глубокими себялюбцами. Они объяснялись, захлебывались в открытую, клялись любить до последнего вздоха. Когда они спят и едят? И ночью, и днем об одном и том же, без перерыва. Не те ли они самые?

Я уже не сомневался, что те самые: слишком пламенно клялись. Островок прямо гремел от соловьиного боя. К хорошему ли?

Шедший вдали теплоходик измерил одиноким длинным гудком протяженность воздушного пространства и грустно умолк.

— Нам бы надо было дождаться той, последней капли, — сказал я.

Татьяна перестала подгребать к себе густые рядки лежавшего вокруг нее сена, на котором устраивалась, и внимательно взглянула на меня.

— Ты думаешь?

Я кивнул.

— Я сильно подурнела с того дня? — спросила она, вынимая из сумки продолговатое зеркало.

— Ты стала еще краше! — воскликнул я, быстро подошел к ней и, опустившись на колени, коснулся губами ее теплых губ.

Сел рядом и обнял ее рукой за плечи.

Она, повернувшись ко мне, вдруг сказала с выражением досады:

— Господи, лучше бы я была уродиной! Тогда бы не нужно было всей этой мишуры, — она тоненькими пальчиками осторожно ухватила легкую ткань кофты и тут же расправила ее, — не нужно было бы ни машины, ни всей этой оправы, — она ласково тронула серьги с блестящими невзрачными камешками, которые как я догадывался, были очень ценными. — Ничего, ничего! А то ведь все смотрят, все любуются, ждут от тебя необыкновенного, возвышенного. Попробуй явись перед ними в гадко сшитом или дешевеньком платьице или в стоптанных туфлях. На дурнушку в таком уборе бы и не взглянули, а ты вся на виду: «Наверно, глупа, на тряпки не заработает». Лучше бы мне быть уродиной!

Ей приятно было на миг представить себя уродиной и замарашкой.

Хотя мы и отделились от всего мира, но к нам все еще доходил извне слабый гудок невидимой посудины, поразительно грустный, понимающий.

Я тронул пальцами ее нежное ушко и поцеловал повыше отвратительного маленького стеклышка.

— Вот видишь, и тебе эти серьги нравятся. Театральные все от них без ума.

«Ну разве я виновата? — угадывалось в ее голосе.— А тебе нужно было два года служить».

Что до Славки, то врачи нашли у него какой-то изъян в позвоночнике, впрочем, оказавшийся, насколько я понимал, сильно преувеличенным. Что-то периодически ущемлялось, но насколько часто и серьезно, знал один Славка, да, может быть, еще и Григорий Иванович.

Прозвучал новый далекий гудок. Казалось, она произносит слова из какой-то роли.

Как я ждал прогонов и генеральных репетиций! Я делал свет, создавал шумы, а думал только о том, когда прольется со сцены ее голос, еще не знавший тогда неверных интонаций и объяснявший чужими словами нашу тайну.

Слов хватало и на нас, и на то, чтобы окрасить искренним светом чужие судьбы на подмостках. «Зачем идти кривыми путями, если рядом ясные, полные надежд? Я люблю вас всех, и счастливых, и ужасных. Так радостно жить, вы только посмотрите!»

Она играла одну и ту же роль, как бы ни назывались пьесы.

До нашего счастья было рукой подать, а то, что о нем знали и классный, и завуч, и директор, и все в десятых, меня уже не пугало. Мы давно перестали краснеть.

Борода советовал ей поступать в институт искусств, который окончил сам.

— Ты не знаешь, что с Бородой?

— Он в драме... Ведь я у него была после выпускных. Послушала его, послушала... Располнел. Представляешь, если я располнею? Ужас.

— Играла бы роли старух и прославилась бы.

— Я решила играть самое себя. Разве я плохая?

И я почувствовал, что близко то, что должно совершиться, то, что угнетало своей невозможностью и отпугивало своей ненужностью и чему теперь я смело шел навстречу, забыв обо всем.

Я раскрыл руки, чтобы обнять ее и притянуть к себе, чувствуя, как она задержала вдох в ожидании этого движения, и, не поворачивая головы навстречу моим рукам, ждала их. И тут наконец наружный мир затих, сколько ни противился нам, пропали небо, соловьи, гудки, погасли запахи сена, исчезли мысли и слова, и мы остались одни.

— За что ты меня любишь? — спрашивала она потом, лежа на спине и щекоча мою грудь травинкой. — Ведь я не такая, как ты думаешь. Ты любишь меня такой, какой я могу быть? Я тоже себя такую люблю. Ужасно люблю!

Наверно, и эти слова были из какой-то роли.

Бабочка с яркими крыльями, нарочито роскошными, как мне казалось, приняла нас за неживые объекты и опустилась между нашими головами на непривлека-

тельный цветок, чудом избежавший косы. Усики у нее были сплетены из двух проволочек, белой и черной, и заканчивались желтой луковичкой. Бабочка живет двадцать девять дней, а этой, возможно, оставалось всего неделя, чтобы до конца познать всю необъятность и величие окружающего и совершить то, что ей положено, чтобы не исчезнуть из памяти природы бесследно. Она легко вспорхнула на своих глазастых крыльях.

— Спеши, милая, не теряй времени, у тебя еще целая неделя.

— Ты с нею разговариваешь?

— Я дал ей душевный совет.

Я снова обнял Татьяну, и нам уже не нужны были кривые словесные слепки с видимого, уже ничто не искривляло нашего душевного пространства.

Я не позволил ей самой дойти до воды — донес на руках. Мне не хотелось ставить ее на песок, отрывать от себя, нельзя было перестать чувствовать ее, не хотелось отдавать Татьяну во власть ее собственных желаний, опасных для меня и непредсказуемых. Я сам ласково и осторожно освежил ее водой, прогретой солнцем, и отнес назад.

— Нам лучше было бы дождаться ту последнюю каплю, — сказала она.

— Да, — твердо сказал я. — Лучше было бы дождаться.

Вверху над нами, была полнейшая прозрачность.

«А что же дальше? — думал я, глядя на ее поднятый вверх нежный локоть. — Что же дальше?»

Я сказал ей, что дальше: она должна уйти ко мне.

От меня давнего, от парня из давнего времени, куда мы въехали на лодчонке, чтобы взглянуть на себя из сегодня, эти слова она еще могла ожидать, но от меня нынешнего...

Миром минувших волнений ей приятно было наслаждаться, а не жить в нем. Там не было жилой площади и кое-чего еще.

— Ты чудачок, — сказала она. — Тебе бы обитать на этом островке и ходить в козьих шкурах. Я ездила бы к тебе с экскурсиями.

Перед самыми моими глазами блестело оправленное желтым металлом стеклышко. Захлебывались соловьи, не ища уединения и тайны.

Я осмелился напомнить ей, что все вещественные радости Славка с батей упрятали от нее под замочек.

— А я знаю, как этот замочек открывается, чудачок. У меня есть потайной ключик.

«Тайным-то у Славки долго не попользуешься», — подумалось мне.

И тут что-то вроде надежды пронеслось у меня, какое-то мимолетное чувство, подобное слабоощутимому ветерку.

Не наступит ли минута, когда Славка запрет от нее все соблазны крепко-накрепко? Не захочется ли ей тогда причалить навсегда к тому островку, где ждет ее Робинзон?

Не следует ли Робинзону быть терпеливым?

Не сама ли Татьяна сказала, что нам надо было дождаться последней капли. Ведь это она сказала!

11

Развиднялось неторопливо, тучи сгоняло не вдруг, солнце еще не овладело обстановкой, не разлило свою власть на всю округу, а несмело выглядывало из своего небольшого, с трудом отвоеванного уголка, но светило ярко, обнадеживающе.

Мне все следовало делать тихо, чтобы не услышала мать.

Вчера по опаленному солнцем похудевшему лицу, по мозолям на руках, которые я смазывал мазью, по моему неожиданному и долгому отсутствию, по нескольким звонкам Лиды, на которые мать не знала, что ответить, пока Лида не попала на отца и тот не сказал, что я подрабатываю, по тому, что меня не оказалось в гараже у Замылиных, а Татьяны дома, — мать все поняла. А когда увидела Татьяну с лицом погрубевшим от загара, окончательно утвердилась, что мечта стать свекровью Светловой висит на волоске.

Отец тоже не одобрил моей выходки. С уклончивым взглядом старался пройти мимо, понимая, что нельзя позволить небольшому ручью вырыть глубокий овраг. Но отец не знал, что сказать мне, и еще не был уверен, надо ли говорить.

Я догадывался, что говорить будут, и ждал этой минуты, но еще не знал, что отвечу.

То, что я ходил с выражением, будто не замечаю

их тревоги, и не делился с ними своими замыслами, которых на самом деле у меня не было, укрепляло их в решении об опасности моих намерений.

Еще в десятом, когда они прослышали о первом приступе моей болезни, они единодушно, что случалось до чрезвычайности редко, не одобрили моего полудетского увлечения и с большой радостью проводили меня на призывной пункт, двоедушно улыбаясь при виде Татьяны, пришедшей к отправке. Они с таким наслаждением изображали потом в письмах подробности того, как Татьяна раскатывает со Славкой по большаку!

Теперь я напоминал рыбку в аквариуме, каждый поворот которой, каждое уклонение в подводную травку были на виду.

Я тоже принимал близко к сердцу тревогу родителей и, чтобы не волновать их, решил неслышно понаблюдать в окно, когда Татьяна пойдет в хлебный за бородинским, чтобы посидеть на лавочке, когда она будет возвращаться обратно.

Включил электробритву и стал счищать негустой пушок, поглядывая вниз. Она ходила, как и все, не по асфальту, а по биссектрисе, протоптанной через мураву, и, только приближаясь к нашему многоэтажнику, сворачивала на твердую дорожку.

Я заметил ее выходившей из дверей магазина, лица еще нельзя было рассмотреть, но мне хорошо было видно ее платье в рубчик с закрытыми, по хмурой погоде, плечами и руками.

Я выходил так тихонько, что даже щеки не ощутили никакого движения воздуха, и сел на скамейку. И не более как через минуту увидел, что из подъезда с порожним ведром для песка выходит мать, причесанная, умытая, в хорошем платье. Я взглянул на нее: вряд ли она спала, наверное, всю ночь прислушивалась к шороху в моей комнате.

— А здесь прохладней, — сказала она и присела на другой конец скамейки.

— Да, — согласился я.

Татьяна шла легкими быстрыми шагами, несмотря на то, что, по моему понятию, идти ей на своих модных копытцах было и шатко и ненадежно. Ничем не заколотые волосы были вольготно распущены. Она чем-то напоминала ту бабочку, которую отпустил я вчера на поляне.

Татьяна не посмотрела в нашу сторону, хотя видела, что я сижу на скамейке, но этот маневр не обманул мать, а только укрепил ее в решении избавить меня от беды.

Мы смотрели с матерью на Татьяну, показывая друг другу, что она не интересует нас, и отлично понимая друг друга, пока она не простучала мимо нас по асфальту своими скорыми дробными каблучками, изящно держа кирпичик бородинского в длинных пальцах.

Неудача не огорчила меня, у меня в ушах звучали слова, произнесенные вчера Татьяной: «Нам надо было дождаться последней капли».

Никогда еще не ходил я по ремонтам с таким розовым чувством.

«Нам надо было дождаться последней капли, — повторял я, как песню. — Нам надо было дождаться».

В одной квартире, забывшись, я смотрел на индийский ковер с удивительным рисунком и думал о своем, а хозяйка думала, что я наводчик и прикидываю, за сколько смогу потом сбыть этот ковер.

Было много нарядов в самом закоулистом, но и самом любимом мною квартале, сплошь засаженном вдоль дачных домиков липами. Медовый запах, как силовое поле, обнимал и квартал, и подступы к нему, изливался густыми потоками во дворы больших домов. Липы, возвышаясь над невысокими крышами, были отягощены пудами меда, они гудели от пчелиного нашествия.

Я едва не наступил на пчелу, не рассчитавшую своей грузоподъемности. Она опустилась на асфальт и пребывала в вынужденном покое. Желтые комки висели на ее ножках, будто кандалы, от которых она не желала освободиться. Может быть, она излетала крылья? Поднял ее. Светлая, молоденькая. Силы должны быть. Посидела с минуту на кончике пальца, тяжеленькая, будто грузовичок, расправила крылья и легла на курс. Главное — не отчаиваться.

В обеденный, между часом и двумя, я вышел переулком к огородам, к раскидистой липе, выросшей без циркуляра поодаль от домов. Ни один из огородников или владельцев дач еще не успел обнести ее проволокой или штакетником, так что я без помех съел, лежа под нею на малозатоптанной травке, свой бутерброд, а потом, разохотившись, и кусок сала с хлебом, хотя

сальцу и недоставало быть холодным и твердым. Жара отыскала его и в чемоданчике. Термосок с горячим чаем оказался после сала очень кстати.

Растянувшись тут же, с чемоданчиком под головой, я раскрыл книжку о вероятностном мире, полученную от доцента Светлова. Решил снова пробежать подчеркнутые места.

Я радостно соглашался теперь с автором на тот счет, что объект, входя в систему, меняет свои свойства; теперь тезис меня не огорчал, ибо я углядел, что объект продолжает при этом сохранять много степеней свободы, будучи скреплен с системой нежесткой, а вероятностной зависимостью, оставляющей ему простор для внезапных прихотей и желаний. И если дождаться последней капли, то система не помешает. Я отложил книжку и думал о будущем, которое начинало излучать сплошной волнующий свет.

Главное, дождаться последней капли.

По-хозяйски обкошенные на потребу коз и кроликов придорожные лощинки, бугорки и обочины дороги пахли вянущими травянистыми соками, и мне вдруг показалось, что я на той поляне.

Да, дождаться...

Невдалеке, на полузасохшем дереве, подпиленном кем-то из огородников, чтобы не затеняло делянки огурцов, застучал дятел, красноголовый, как дежурный по станции.

— Фуражка соскочит, — сказал я. Он поверил, поправил ее, откинув назад голову, и задолбил снова очередями разной длины. Отцепил большущий кусок коры и принялся наслаждаться результатами труда.

Он дождался.

До очередного наряда было идти далеко, к самой станции. Я встал, подхватил чемоданчик, попрощался с умным дятлом. Главное — дождаться.

Мать затеяла ремонт, чтобы удержать меня дома. И я горячо помогал ей, бегая в хозяйственный и обратно, вынося ведра с мусором, передвигая неполированные шкафы и дряблые диваны с места на место.

Весь чернорабочий труд я осилил борзо, и мать, с отчаянием видя, что я сейчас уйду, поручила мне подготовить к ремонту кладовую, несмотря на то, что с нею можно было бы и повременить. Сносить оттуда старье было некуда.

— Ты хоть увяжи его в мешки и сложи в чемоданы.

Копаться здесь я любил. Тут лежали оставленные матерью для истории мои школьные тетради и дневники, попадались акварельные картины, лишенные перспективы, и даже костюмы, для новогодних праздников в детсаду. Поскольку я не стал, как предполагалось, великим, вещи заметно утратили свою ценность и лежали, покрытые густым слоем пыли.

Здесь хранились не только старые заброшенные вещи, но и заброшенные мысли, на которые можно было натолкнуться, открыв какую-нибудь давнюю тетрадь с весьма неровными оценками. Когда я получал их, я говорил матери, что не хватило способностей. Не мог же я сказать, что взахлеб читал дома химический детектив о том, как усердные молодые люди (все молодые!) выслеживали по ничтожным приметам элементы, устраивали им самые неожиданные западни, и, выпарив наконец последнюю дозу вещества, выделяли искомое в чистом виде, чтобы вынести его из своих продымленных лабораторий на люди для всеобщей пользы.

Одна молоденькая девушка с энергичным мужественным лицом, одетая в грубое платье с пелеринкой, которое Татьяна ни за что бы не надела, с утра до ночи дробила, растирала, растворяла, выпаривала из руды какой-то неизвестный дотоле элемент. Она превратила своими нежными пальцами в порошок тонну камня, на что ушло два года, и наконец выделила из него ноль целых три десятых грамма вещества, того самого, которое сейчас вращает электростанции. Это была Мария Кюри-Склодовская. Прочитав об этом, я долго презирал себя, избегал ребят и прежних игр, я впервые понял, что я неполноценный. Потом прошло.

Отряхнув от густой пыли книжку, я снова встретил на одной из страниц ее несокрушимый взгляд. Все дело в том, чтобы дождаться.

Между пожелтевшими листьями альбома мне попалась контурная карта, нарисованная мною по памяти. Линии материков были довольно правильные, все острова и проливы на месте. Вряд ли Магеллан имел такую, когда отплывал из дома.

Какое нужно было иметь упрямство, как нужно было верить себе, чтобы отправиться куда-то под брюхо земли, с каждым днем все удаляясь и удаляясь от дома, чтобы никогда назад этой дорогой не вернуться,

плыть туда, где был край воды. А вдруг земля-то не круглая! И каким она может быть шаром, если собственные глаза говорят: плоская! А они плыли...

Главное — дождаться.

Сколько в этой кладовой умерло хороших мыслей! Я клял себя за неверность им, но ничто не помогало. Теперь я знаю, почему они все умерли. Они были добыты не мною, не выращены самим, а сорваны с чужого дерева. Лежите здесь в кладовой, может быть, еще и встретимся. Может быть, я заново открою вас.

От заброшенных мыслей меня оторвал телефонный звонок. Аппарат нам поставили, чтобы вызывать в ПТО незаменимого батю, который готов был подменять всякого, только бы иметь предлог лишний раз двинуть с товарняком к черту на кулички и проследить на каком километре букса будет вполне готова вспыхнуть.

Звонок заставил меня почувствовать остренький укол в груди. Я не ошибся. Звонила Лида.

С какой готовностью маманька потребовала меня к телефону! Ни отсрочить, ни укрыться.

Я удивился, каким натуральным тоном отвечал, что занят ремонтом жилья, хотя видел выразительные знаки матери, готовой тотчас дать мне увольнительную. Но зачем перекладывать тяжелый физический труд на плечи родителей? Я намекнул Лиде, что люди моего круга такой работой заняты весьма и весьма часто.

Она сказала, что подождет конца ремонта и наведается уж в чистенькие хоромки. В голосе всегдашняя звучность и определенность.

Я подумал, что аспирант, знающий все звенья цепи вероятности, будет Лиде на время моей отлучки очень полезен. К тому времени, пожалуй, волосы у него над ушами еще более подрастут. Но, встретившись глазами с матерью, я ощутил неловкость и покраснел, несмотря на этот утешительный довод. Батя, стоявший на табурете и заглублявший в стену провод, повернулся ко мне и посмотрел на меня долгим молчаливым взглядом.

Признаться, стыд мой не был внутренним, не происходил от собственного суда, а был вызван неприятными для меня взорами родителей.

Такое же утеснение, возможно, терпит сейчас и Татьяна от своего свекра. Она хоть и дерзко проходит мимо него, а все-таки чувствовать его взгляд из засады нерадостно.

Говорит ли она себе, что надо было дождаться?

Когда родители стали смывать с себя следы ремонта, я сказал, что пойду подышать воздухом. Они промолчали, и я ушел.

Напрасно они обиделись. Я в самом деле побродил по поселку и окрест, размял ноги. Привычные дорожки были скучны, и я походил краем леска. Свет над ним уже ослабел, птицы угнездились там, где удобнее было переждать короткую ночь и собраться с силами на новый день, но сумрак надвигался медленно, и они восторженно добирали весь солнечный осталец, озвучивая опушку.

Не раскаивается ли мать в том, что горячо поддерживала меня в моих планах пойти на выучку к деловому Славке? Не думает ли она теперь, что я рвался не к заработку, а к Танюшке?

Наверно, вспоминает, как я, отслужив, первую неделю неважно дома спал, ворочался ночами с боку на бок, надрывал ей сердце.

Не в том дело, что были там всякие страсти-мордасти. Тревожили обидные мысли, проклинал свою нескладность. Потом-то я узнал, что теперь все не так, без африканских страстей. Сразу выздоровел. Да и Танюшка не той показалась. И слова, и замашки — все другое. И фитюльки в ушах, и подмазка на лице, и речи замылинские. Как будто выздоровел...

Я, как и встарь, говорю себе: а что изменилось теперь, после островка? Был от нее далеко, стал еще дальше. Ничего путевого не будет. А чувствую: слова эти больше для виду — чтобы надежду поспешной радостью не отпугнуть.

Нашу березку сразу не узнал. Была молоденькая, зеленая, листья что дымка салатная. А теперь кора белая, взрослая, черные полоски по ней.

Дуб с обломанной рукой (тут мы, как тукнутые, подставляли однажды под капель раскрытые рты) тоже повзрослел и посерьезнел.

А все-таки у Танюшки среди чужого нет-нет да и покажется старое. И взгляд порою тот же, и в голосе прежнее, даже слова давние, знакомые, а то вскинет голову или махнет по-особенному рукой — все знакомо. Раскрыла на островке желтенький львиный зев, заглядывает ему в рот: «Глотать не больно?» Куда от себя уйдешь?

Теперь мать снова ночами прислушивается. Но я стараюсь лежать тихо, не ворочаться, не вздыхать. Только ее не обманешь.

Взглянул на цветы в санатории. По рыхлым комочкам ходил скворец и косил на меня глазом. Для двоих, дескать, делянка маловата.

«Вспоминала обо мне?» — спрашиваю Танюшку в лодке, по пути домой.

«Вспоминала», — говорит. А потом: «Глупость все это».

Когда причалили, посмотрела по сторонам. Никого нет. «Перенеси меня из лодки на руках. Буду помнить твои руки».

Завтра Лида позвонит снова. Не решила ли она, в конце концов, сделать мою временную роль при ней постоянной? Чем я заслужил такую перемену? Почему ее звонки стали чаще и настойчивей? Разве у нее нет в запасе еще одного, которым она могла бы обойтись, пока я гоняюсь за призраками прошлого?

Как только вспомнил о своей временной роли при ней, я почувствовал, что вправе поступать так, как считаю нужным, сказал себе, что нет причин казниться, и ощутил наконец облегчение, которого, как я теперь понял, долго желал, оставаясь виноватым без вины.

С той минуты я о своей вине уже не думал, а с обидой обсуждал свое неопределенное, но удобное для Лидии качество. Да, мы сидели с ней в красной полутьме, и мне верилось тогда, что я все еще могу надеяться, что она заинтересуется мною по-настоящему. Но ведь и аспирант надеется на то же.

Я удовлетворенно рисовал себе, как встречусь с нею и учтиво, точно в романе, объяснюсь, как она будет удивлена моей торопливостью, она будет гордо сознавать, что я упустил свое счастье.

Я даже угадывал слова, которые скажут аспирант и она обо мне в минуту их единомыслия.

Тот, кто говорит плохо о других, в их среде неуважаем.

Что станет с моей бедной матерью! Она так надеется на мои особенные задатки, о которых, кроме нее, никто не подозревает, она так верит, что я выбьюсь из посредственности, так верит, что я не буду походить на отца. А с Лидией Васильевной мое счастье можно было считать обеспеченным.

А тут еще Лидия посетила нас. Разве это не окрылило мать?

Домой вернулся я, к удивлению родителей, довольно скоро. Мать напомнила, что время полить на балконе цветы.

Полил. Задержался у одного из ящиков.

Все цветочки львиного зева оказались розоватыми. Желтенького не было. Ладно. Годится и такой. Открыл одному «ротик»: «Глотать не больно?»

Он был здоров. Никаких детских болезней.

Я еще постоял немного, посмотрел на закат и пошел в свою боковушку.

12

«Не хочешь ли подработать?» — спросила приемщица, взглянув на мои избитые по этажам туфли.

Неужели в настроении? Впрочем, и такое случалось. Я не стал отказываться.

Она снабдила меня адресами двух клиентов. Будет ли наряд, я не спрашивал — когда по наряду, у нее иные лицо и голос. А теперь она излучает кратковременную улыбку. Все ее любимчики попали на заметку, и она снизошла до меня. Наверно, думала, что откажусь, а я согласился.

Одному из клиентов можно было бы позвонить, и он прибежал бы с работы в перерыв, удобно и ему, и мне. Но я с тоскою вспомнил, что Лида обещала вечером взглянуть на нашу обновленную квартиру, и перенес ремонт телевизора на девятнадцать: не тянуло с Лидой встречаться.

Клиент пришел, когда я уже сидел у подъезда на лавочке. Увидел издали мой баульчик с потертыми боками и сразу направился ко мне с виноватым видом: опоздал.

Таких работа любит, тихий и безответный. Отпуск не дали, и жена уехала в Кисловодск без него. Обещали в третьем квартале.

Дома было чистенько, супруга перед отъездом все выскоблила.

Копаться в телевизоре пришлось долго, а он считал нужным стоять возле меня на голодном посту. Не хочешь — не ужинай.

Наконец я отыскал обрыв, подпаял, складываю инструменты в чемодан. Вижу, что он радуется, глядя на

то, как бегают по полю футболисты. Я тоже доволен. Чем радостней клиенту, тем веселее мне. Радость-то он из моих рук получил, пусть пользуется.

Жалеет меня:

— Сейчас восемь, вернетесь в девять, из-за меня потеряли вечер.

А я взглянул на него и говорю, как давнему знакомому, что и сам решил задержаться, предстояла встреча, а я к ней не готов.

Он стал сочувственно изучать меня.

— Может, как-нибудь и наладится?

А как оно могло наладиться, если я только и думаю, чтобы заново переиграть третий акт. Он ни за ту, ни за другую сторону. И все-таки спросил:

— А сложилось ли у них с мужем?

Если бы сложилось. Не так-то просто взять у Славки то, что ей нужно.

— А вы ей набрасывали свои планы?

— Как же. Сказала, что мне нужно жить на островке и что я чудачок.

Он понимающе усмехнулся, словно имел опыт.

— Избитый случай. Общая крыша и цепи мелочных дел — что мы можем против них? — сказал он. — Эти путы самые крепкие.

Как раз это самое я и подозревал. С умным и поговорить полезно.

Уже в коридоре догнал меня.

— А деньги?

Какие там деньги с закадычного, которым он стал мне за две минуты? Просто поговорили.

Видя его протянутую с бумажкой руку, сказал:

— Я ведь сам, без наряда.

Наутро приемщица спрашивает, сколько получил. Отвечаю, что по-дружески сделал, не взял ничего. Скривила лицо, дескать, знаем таких. «Ну да ладно, не обедняю».

— Давай второй адрес назад.

Вернул.

А в пятницу, ровно через неделю, было собрание. Обсуждали калымщиков, а приемщицу Николай Иванович пообещал уволить — она главная. Слез было целое озеро. «У меня двое детей, куда же я пойду?»

Зарекалась бросить.

Николай Иванович сказал, что подумает. А потом

извлекает из папки письмо с конвертиком и говорит, что у нас в мастерской есть люди, о которых тепло отзываются клиенты.

И зачитывает письмо того самого тихого клиента, у которого я пережидал визит Лиды. Уж он там разливался. Оказывается, приемщица справлялась по телефону, взял ли я с него, а он, полагая, что меня за это ждут неприятности, прислал объяснение в любви.

Приемщица боялась, что я оголю факты, боялась повернуть голову в мою сторону, но я молчал, как соучастник.

После собрания Николай Иванович позвал меня в свою конторку.

— Что-то тебя вечерами не видно. Зашел раз, поговорить о деле хотел, — тебя нет, зашел второй — тоже.

Не сказать же, что я батрачу у Замылиных в гараже? Чувствую, щеки алеют. Сказал, что нашел девчонку. Он пристально посмотрел на меня. «Ну если девчонку, то дело молодое, закроем вопрос».

— Думаю тебя на месяц за себя оставить. Путевку дали. Как ты на это?

«А если бы письма не было, назначил бы?»

Дома ждали, когда я приду. Стоило взглянуть на батю и мать, чтобы догадаться о предстоящем наставлении.

За ужином отец спросил, не лучше ли мне бросить эту «дозировку», хотя, понятно, и жалко: такой большой труд, работа, в конце концов, не порок и т. п. Мать не без муки пошла на столь серьезную жертву, должно быть, уже и прикинула, какую дыру в хозяйстве помог бы залатать мой приработок, но молчаливо поддерживала отца. Они твердо решили закрыть мне дорогу туда, где расставила сети Танюшка, решили избавить меня от погибели. Правда, союз у них был некрепкий, и стоило мне сказать, что все мною заработанное останется Славке и что работа почти окончена, как мать посмотрела на отца тоскливыми глазами. Он махнул рукой и пошел в свой сарайчик.

— Лида звонила? — спросил я.

— Два раза.

Если зыбкое равновесие длится неопределенно долго, если сила притяжения больше сил отталкивания, стоит ли мне ждать чуда? Стоит ли ждать, когда Танюшка станет иной? Знаю: никогда не станет. Тихий

клиент сказал правду. Стоит ли делать крутой поворот как раз в то время, когда временная роль при Светловой обещает сделаться постоянной?..

Мать ликующе прислушивалась к тому, как я набираю номер, как справляюсь у Лиды, не утешал ли ее аспирант, пока я находился в плену обыденных забот. Лидия ответила, что утешал и что снова пожалует к ней в субботу. Придет и ученый орнитолог. Не хватает только меня.

Я заверил, что буду.

А потом я наблюдал в окно, как прогуливается с болонкой Татьяна.

Белый пушистый комок катался по газонам и дорожкам, закатывался Татьяне под ноги.

Болонке не разрешается брать у детей конфеты. Взглянув на хозяйку, собака презрительно отворачивается от лакомства, но сквозь космы наблюдает за Татьяной. Как только Татьяна перестает на нее смотреть, болонка хватает конфету остренькими зубами и спешит в укрытие, чтобы торопливо ее изгрызть.

Никто из двоих, ни хозяйка, ни болонка, не бросили взгляда на мое окно.

13

Игорь Николаевич больше налегал на то, чтобы выяснить, в чем оплошка, почему на станции техобслуживания уже второй раз скверно регулируют клапаны, а Григорий Иванович туманно объяснял, что не берут в расчет нрав машины и хозяина.

«Если время терпит, спустя часик сделаю».

Часик у Полозова в субботний день отыскался, и он стал ждать, пока хозяин гаража добьет что-то неотложное. Гость не знал, что двигателю нужно хорошо остыть, только тогда клапаны можно отрегулировать душевно, с пониманием. Нагретый металл охладится и позволит увидеть настоящий зазор. Я уже понаслышался в гараже.

— Фамилия ваша как будто из наших мест, — проговорил Григорий Иванович, затянув болтик и разгибая широченную спину. — Ага, значит, из одного района. Я так и догадывался. Да, земляка теперь скорее встретишь в городе, чем в деревне. В деревню-то чужих понаехало. Давно оттуда?

— Мальцом еще, в пятнадцать. Мать определила в ремесленное, вот с тех пор... А вас, Григорий Иванович, я тоже как будто припоминаю, вы тогда, конечно, помоложе были. Еще в прошлый раз хотел спросить, да подумал, нет ли ошибки. Дизелек вы нам делали. Мне тогда с ключом тоже хотелось потереться около вас, я уже в тракторах разбирался, да вы со своим человеком приехали.

Григорий Иванович недоверчиво посмотрел на Полозова. Не выдумывает ли, не польстился ли на пересуды и дурные слухи?

Как будто не из таких человек.

— Может быть. Столько лет прошло. До прежних босоногих теперь рукою не достать. Высоко залетели.

— Да, жизнь иная пошла, Григорий Иванович. Не та. А думалось, никогда из того разорения послевоенного не уйдем. Теперь там высоковольтная линия. Бери киловатты сколько хочешь.

— А есть ли кому брать-то?

Игорь Николаевич пристально взглянул на хозяина гаража. Понял, что Григорий Иванович тех мест из пригляду не выпускает.

— Покинули ту деревеньку, на главную усадьбу оттуда съехали. А что в этом плохого? Поближе к газу, к сельпо, к десятилетке.

— Рыба ищет, где глубже. Это верно. А весь ли прежний клин запахивают? Может, какие лоскутки остаются? Людей-то вдаль не всегда навозишься. Да и неудобье в наших местах для машин.

— Думаю, весь, Григорий Иванович.

— Давно вы там не были, Игорь Николаевич.

Зазоры клапанов хозяин уменьшил до нужных. Теперь выпускные до срока не прогорят, тяга будет помощней. Взял умеренно, столько, сколько берут на станции техобслуживания.

— Приезжайте, Игорь Николаевич, если что... А насчет резины я не забыл. Хлопочу.

— Лучше вас, Григорий Иванович, мастера нет. Куда же, кроме вас.

Земля тесна. Я делаю вид, что занят своей дозировкой и ничего не слышу. Старик искоса поглядывает на меня: слышал я или не слышал? Я усердно занимаюсь своим, и он, по внешности, умиротворяется, но уже нет в нем входновенной скупости движений, не погла-

живает, не потрагивает от удовольствия холодный двигатель в предчувствии того, как молодо он скоро заступит, не радуется тому, как ладно все подогнано.

Казалось, Полозов не весь уехал, а все еще продолжал говорить Григорию Ивановичу что-то неприятное, а Гигорий Иванович все еще мысленно возражал ему. Конечно, уважение Полозовых ему не нужно, он и без похвал проживет. Да Полозов и не хотел его обидеть, даже как бы и похвалил. Дело совсем не в Полозове и не в тех, кто думает одинаково с Полозовым. Дело в самом хозяине, в каких-то его собственных мыслях, наверное, любопытных.

А возможно, никаких мыслей и нет, а только усталость и возраст, когда всякая мелочь, всякое пустое слово приобретают обидный смысл.

Славка, видно, все это знает лучше меня. Он заглянул в гараж как раз в то время, когда отец, не собрав инструмент, сердито отпихнул с дороги запаянный радиатор и ушел, кинув работу, которой оставалось на полчаса. Уже вечером за нее можно было бы получить то, что оговорено.

— Захандрил старик, — сказал Славка со снисходительностью в голосе.

А может, что-то и пристает к душе от чужих правил?.. К Славкиной — нет, особенно теперь, когда перед ним такие широкие дали.

Вчера вечером, в пятницу, он приехал ненадолго из райцентра. Вернулся с большими деньгами. После расчета с теми, кто закончил свое и на стройке не нужен, у него, видно, осталась полная калита. Григорий Иванович не мог смотреть, как он ворковал с Татьяной.

И сейчас, видя в окно, что сын моет машину, не удержался, опять вышел в промзону.

— Ты обещал свозить деда в деревню.

— Сегодня не смогу.

— А когда?

— Не знаю.

— С нею поедешь?

— Да.

Принарядились с Танюшкой, он в костюм из вельвета по моде, она в распашонке, в той самой. Собираются в центр.

Танюшка знала, что я не могу ответить на ее улыбку, не могу разделить ее радость, но все-таки улыба-

лась, словно убеждая: с этим ты должен смириться; если мне будет хорошо, то будет хорошо и тебе да и всему свету. А как же иначе!

Славка тоже улыбался. Расселина между зубами разрезала его улыбку надвое. Он был рад, что я вижу Танюшку веселой.

«Ужасно люблю ездить по магазинам», — разъяснял мне искренний Танюшкин взгляд.

Супруги ехали в центр за покупками.

Антон и болонка не могли упустить такого случая и подошли к машине. Болонка мучилась невниманием хозяйки. Антошка тоже был грустен.

Григорий Иванович провожал машину взглядом до самого выезда ее со двора, следя за тем, как она то скрывается из виду, то показывается в промежутках между деревьями и кустарниками. Двор у нас, огороженный четырьмя домами, огромный.

К мыслям старика, разбуженным беседой с Полозовым, добавились новые.

А мне все виделась разделенная надвое Славкина улыбка.

Когда Славка отмывается, узнаешь, что он молодой.

«Да, да, ты должен радоваться, если ей хорошо», — подумал я и пошел в сарай к железкам. Постоял у смонтированной магистрали для раствора соли и дрожжей. Посидеть бы в тихом забвении, послушать свиристение птиц и выкинуть все из головы.

— Ты совсем-то их не разбирай, могу подбросить, — услышал я. Григорий Иванович снимал с машины клиента номера. С получением своих у него затянулось. Теперь он поставит на свою красавицу чужие номера. Еще одна обида.

Я понял: он поедет на Ямки за дедом, который ведь может и не дождаться, пока у внука выпадет время свозить его в родные места, возможно, и в последний раз...

Старик был утлый, но с живым взглядом. Вышел по ступенькам из новехонького дома, сам, без помощи.

Усадьба без уклона, выровнена подсыпкой, не то что у соседа, который, наверно, всю жизнь сидит на кочках, ожидая сноса, да так и не дождется. Высотные дома еще в километре отсюда.

— Пчел-то вывез? — спрашивает Григорий Иванович.

Дед кивнул.

— Кто же с ними?

— Да есть там один... У него и свои ульи.

— Хорошие места?

— Разнотравье, клевера, гречиха...

На улице старик оглядел длинную машину: хороший выезд. Масть вороная, стати что надо. Одобрил взглядом. Сыну его взгляд понравился. По-деловому сели в кабину рядом. А я за стеклом, позади, под ногами развинченные трубы. Обо мне Григорий Иванович сказал отцу: Славкин напарник.

Деревня была не совсем подгородная, но и не сказать, чтобы далекая от города. Низами ее облегали сады.

С достоинством и неторопливо проехали по главному порядку. Благородная форма лимузина притягивала взгляды.

— Спустись-ка, Гриша, в низы.

Григорий Иванович спустился. Остановились у самого ручья, на дороге, заросшей между колеями травой.

Григорий Иванович вышел поживее, отец помешкотней, но без чужой помощи. Я тоже не остался в машине: что сидеть одному?

Поднялись стежкой между двумя огородами вверх, к дому. Остановились у древнего кирпичного сарая, стоявшего к дому наискось. Видно, улица когда-то была нарезана не так, как теперь, а под другим углом. Дом был веселый, аккуратный.

Молодой хозяин, готовый занести ногу над седлом пыльного мотоцикла и отбыть по неотложным летним делам, изменил намерение. Подошел к нам.

— Опять прикатил? Может, ты совсем заберешь этот сарай, чтобы он тебя не тревожил? Помогу сломать.

Глаза у деда выгоревшие, но прищур узкий.

— Да ты не обижайся, Яша. Что было, то ушло. Я ведь не на сарай смотрю, не его жалею. Плевое дело, о чем тут жалеть. Я ведь на свою молодость смотрю. И ты будешь смотреть когда-нибудь на свою.

— Раньше, значит, лучше было?

— Чего же хорошего? Ходили в лаптях, спали без простыней, ни теплого душа тебе, ни музыки...

Он еще раз окинул глазом оросший в землю кирпичный сарай, местами обомшелый.

— Один угол-то осел, — сказал он.

Если бы Славкин дед оказался нехозяйственным, я бы огорчился. Славка и Татьяна, пожалуй, уже дома. С покупками. Зачем она была в той *самой* кофте?

В кольце белых облаков — синее-синее небо. Средиземное море. Танюшка, наверно, примеривает обнову: идет ли к ее глазам? Может, сбросила кофту, а Славка стоит рядом.

Долго я смотрел на синеву и почувствовал облегчение, когда ее затянуло белой кисеей. «А чего я ждал?»

Сделали крюк, забросили в райцентр железки и к четырем вернулись домой. Въезжаем во двор. Григорий Иванович спрашивает:

— Ты еще поработаешь?

— На сегодня, Григорий Иванович, хватит. Слишком много впечатлений.

Придя домой, вымылся, побрился, обул новые туфли, натянул батину фирменную рубашку и с минуту разглядывал в зеркале личность, смотревшую на меня. Это ей принадлежат все мои мысли, сомнения, обиды, надежды, это ее видят все, с кем сводят меня нынешние тропки. Ничего примечательного. Хорошо, что я взглянул на него, понял, что за ним таится в неволе иной, более сообразительный парень, которому нет ходу, его отпихивает тот, что в зеркале, не позволяет выглянуть на свет божий.

Зеркало чуть-чуть низковато для меня, наполовину срезает голову, приходится каждый раз унижаться, глядя в него.

От зеркала меня оторвал телефонный звонок.

Снял трубку. Голос Лиды. Она сказала, что сейчас находится где-то поблизости, ездила на дом к больному свидетелю.

Чтобы порадовать мать, которая замерла в большой комнате, прислушиваясь к разговору, спрашиваю:

— А почему бы тебе не заглянуть к нам, если ты поблизости?

Лида, разумеется, только того и ждала. Зачем же иначе звонить?

Мать побежала на кухню, чтобы еще раз посмотреть, достаточно ли уютно там, не лежит ли что-нибудь не на своем месте, хотя с утра только этим и занималась.

В обновленной квартире она блаженствует, охотно делится с соседями строительными навыками, секретом смешения красок и эксплуатации старого пылесоса, как

новейшего средства побелки, лишь бы кольцо на банке с раствором оставалось герметичным. А эмаль надо выбирать гэдээровскую. Сами видите, и блеск, и оттенок, и сохнет к утру. А вот прежние дорожки на таком полу не смотрятся, и она не знает, что с ними делать, надо бы скатать их и вынести в сарай. Сразу, как я заметил, ей жалко выбросить вещь, надо, чтобы она, по обыкновению, дошла в сарае до кондиции, только совсем без дорожек тоже нельзя, второпях иной раз и босым приходится пройтись.

Лидия прибыла необычайно скоро, точно стояла за углом, веселая, общительная, совсем не такая, какая была на батином юбилее. И, кажется, чуть-чуть тревожная. Подумал выразить чувство радости от ее неожиданного прихода, но одернул себя: зачем фальшивить?

Дружески улыбнулся и сказал просто:

— Здравствуй.

— Ты уже собрался? Мог бы не застать меня дома, хорошо, что позвонила.

— Подождал бы.

«Я ведь умею ждать, недавно пришлось в лодке»,— не мог не усмехнуться я над собой по своей природной привычке и почувствовал, как по моим щекам разливается тепло не то чтобы стыда (я одолел его), а тепло не подвластных мне физических сил.

Зато сейчас мне все ясно, что ждать мне больше некого, так что я снова возвращаюсь в вероятностный мир.

Она поговорила с матерью о ремонте, в должной мере восхитилась им.

Танюшка теперь далеко, говорил я себе. Важно больше не думать о ней, сразу справиться с этим нельзя, она будет тревожить и угнетать меня, если я не заставлю себя поскорее привязаться к Лидии.

«Коврики надо сохранить», — весело шепнул я матери перед уходом. Они мне были безразличны, я радовался тому, что пришло решение.

«Коврики надо сохранить», — повторил я мысленно на лестнице, когда мы спускались с Лидией вниз, а сам радовался определенности, наконец утвердившейся во мне. Заставить себя забыть Татьяну, пусть не сразу, не в один день, но каждый раз все отдаляя и отдаляя ее от себя в мыслях, пока образ ее не сотрется совсем,— вот что мне теперь нужно.

Эта суббота памятна мне не только тем, что я понял, как мне избыть наконец думы о Татьяне. Этот день навсегда убедил меня, что случайность — не выдумка доцента Светлова, а подлая субстанция, подстерегающая меня на кажлом шагу.

Едва мы с Лидией обогнули густой палисадник, как я увидел вдали, на той же взлетной полосе Татьяну с болонкой. Не исключено, что Татьяна могла заметить Лидию давно, еще тогда, когда Лидия шла по косой дорожке с папкой в руках. Не заметить в нашем поселке такого человека нельзя. Но в ту минуту, когда я увидел, как Татьяна движется, поигрывая поводком, а болонка семенит рядом, мне показалось, что их несет нам навстречу та самая роковая случайность, от которой некуда деться, как бы мы ни таились от нее.

— А-а, Геночка, здравствуй, а я думала, что ты все в нашем гараже. А ты уже на прогулку.

«Ах, вот она какая, твоя дипломированная, неплоха, но бука».

Лидия смерила Татьяну сверху донизу, потом болонку, вздернувшую вверх косматую голову, и рассмеялась.

— Все смеются, глядя на нее, — проговорила Татьяна. — Может, познакомишь?

Это уже было слишком, но я с выражением охоты и даже с непринужденностью отрекомендовал их друг другу. Теперь уже не торопилась уходить Лидия, предвидя большие возможности для поиска истины с помощью перебора вариантов. Я поймал себя на том, что смотрю на свои новые ботинки, и заставил себя поднять голову повыше.

Но Татьяна была не из тех, кто способен стушеваться под изучающим взглядом. Она обволакивала этот взгляд облаком дружелюбных слов и кончила тем, что спросила Лидию, правда, ли, что она по юридической части.

Лидия с достоинством кивнула.

— А можно ли у вас проконсультироваться? Это займет всего минуту. У нас с мужем машина, а свекру не регистрируют его собственную, он собрал сам. Говорят, что нельзя две на одну семью. Но мы ведь порознь ведем хозяйство, мы с мужем ждем кооператив, чтобы совсем уйти. Почему же свекру отказывают? У нас разные семьи. У нас с мужем ребенок пяти лет.

Так вот оно что, а я гадал, почему это Григорий Иванович не выезжает на своей заокеанской красавице из гаража, а выходит нет водительских прав.

— Отказали ему незаконно. Пусть приходит на вечерний прием в понедельник, с семнадцати до двадцати. Я помогу. До свидания.

И уничтожающе повернулась, держа в левой согнутой руке коричневую папку с тиснением под крокодилову кожу.

Не знаю, что сказал ей перебор вариантов, но она сделалась грустна.

— А чем занимаешься ты у них в гараже? — спросила она, когда мы подходили к остановке автобуса.

— Делаем с ее мужем одну работу для хлебозавода. Механизация трудоемких процессов... — И, почему-то зарумянившись, поспешно добавил: — Скоро кончаем.

Она теперь хвалит себя за то, что сама совершила, как это у них называется, выход на место. Лучше один раз увидеть. Ну и что, собственно, увидела она? Мое невольное смущение? Развязность Татьяны? Но ведь я мог смущаться оттого, что Татьяна разглядывала Лидию, которую до поры до времени мне не всем хотелось бы показывать.

А то, что я для Татьяны свой, то я ведь постоянно у них в гараже. Как член семьи.

Я непринужденно взглянул на Лидию, она смутилась; точно почувствовала, что я прочитал ее догадки и что против них у меня имеются веские доводы.

«Возможно, у тебя и есть доводы, но я-то буду думать свое», — сказал мне ее взгляд.

— Жеманная гражданка.

— Театральная, — уточнил я. — Ведает самодеятельными артистами.

С какой стати я должен чувствовать себя виноватым? Если я Лидию уже не вполне устраиваю, если в ней поселились подозрения, то я ведь не набиваюсь. Мне бы и перерыв был полезен, чтобы привести свои дела в порядок, заняться учебниками, которые теперь казались мне желанными, чтобы полистать взятое в библиотеке. Фантастика уже запылилась. Не покрылись пылью только романы, где я сам персонаж. Слава богу, один позади: если бы захлопнуть и второй, это было бы в самый раз.

Я ощутил, что ко мне готова возвратиться долго-

жданная тишина, что я готов посмотреть и на себя, и на Лидию со стороны, с дистанции, способен не краснеть и даже не обижаться на нее.

Пока мы ждали автобус, Лида уловила во мне дурную сдержанность, отложила на время перебор вариантов и попыталась меня оживить.

Оживиться я всегда готов. Мы довольно весело одолели путь от поселка до центра, шутки не позволяли нам молчать.

Решили сократить дорогу и свернули в запорошенный тополиным пухом переулок.

— Я думала над словами графа. Он ошибался не во всем, — вдруг сказала она.

Было бы лучше, если бы она признала правоту графа тогда, когда меня вышучивали. Снова втягиваться в спор о том, кто ныне самый полезный, а кто самый бесполезный, я не стал.

У Светловых меня приняли с настороженностью. Хозяин спросил, каково здоровье моих родителей, хотя его интересовало собственное — книги о долголетии, о вкусной и здоровой пище, какие-то ксерокопии, переплетенные по формату книги, были у него самые читаемые.

Хозяйка, не столь утомленная, как в былые дни, сказала, что за то время, пока я не появлялся, съедено много вкусных вещей, все готовилось и с учетом моего аппетита.

Почему она кандидат биологических, а не поварских наук? Я уверен, что она и в биологических науках нужна: такая, за что ни возьмется, на полпути не бросит. У нее уважительный взгляд. Мне хотелось бы сказать ей что-нибудь хорошее, но я только благодарно посмотрел на нее.

Орнитолог, ее папаша, был мне рад. Привет и братство ему и его птицам.

Анатолий Анатольевич (он тоже был здесь) без меня скучал, сократилось поле приложения его умственных сил.

Держа в своей ладони его мягкую ученую руку и радостно ее потряхивая, я разглядывал, не подросли ли у него над ушами пряди. Кажется, подросли.

Он чувствовал, что я в опале, и закреплял свое преимущество в очках, завладел вниманием Лиды, спрашивал, привыкает ли она к месту, догадывался, что беседа о службе ей мила.

Лидия сказала, что самочувствие у нее лучше некуда, и выразительно посмотрела в мою сторону.

Анатолий Анатольевич умно не заметил намека и продолжал разрабатывать начатую тему.

Он выяснил, что Лиде приходится теперь помнить, что каждое слово произносится ею не только от себя, но и от лица всех, что ей хочется оправдать надежды людей, а они всегда завышенны; что от нее все ждут такого, чего она выполнить не в силах, а потом разочаровываются в ней, она уже для них никто, вредный человек. Да и сама недовольна собою. Много промахов. Не хватает сообразительности. Уж какое тут самочувствие!.

— А там еще горе виновных и пострадавших, — сказал умный аспирант.

— Имею же я право дышать, как все. Лишь бы я делала честно то, что требуется, — вспыхнула она.

И отвернулась. «Может быть, я несчастнее других».

Я избегал смотреть на нее. Не хотелось, чтобы мои глаза видела и мать Лидии.

«Этого следовало ожидать. Я предупреждал. Сын смазчика», — было начертано на хмуром лице хозяина.

Ласточки за окном, не распадаясь на группы, коллективно прочесывали атмосферу, — стаей на невидимую стаю мошкары.

— Тобою интересовался Василий Васильевич. Что-то, говорит, Геннадия Петровича не видно, — проговорила Лидия.

В одной комнате со стариком она чувствует себя несчастной и не дождется дня, когда ей выгородят за счет архива обещанный кабинетик. Когда видишь, что за тобой наблюдают, поневоле стеснен.

Ей кажется, что старик — мой лучший друг.

Я не вступаю в полемику ни с нею, ни с аспирантом, будет меньше попаданий в меня самого.

За уткой, жаренной с яблоками добротных кислых сортов, разговор вновь вернулся к службе Лиды, чье будущее занимало всех. Доцент Светлов, подобревший после румяной ножки и стаканчика рислинга, сказал, что сомнительные личности, к сожалению, пока не все вывелись. Он как-то двусмысленно поглядывал на меня, как будто я относился к этим самым личностям и должен был в совершенстве знать, что у них на уме.

А я не знал.

— У нас на девятом один человек точно знает, откуда порча. Это мой наставник Василий Васильевич.

Она улыбнулась.

Всем было любопытно, а мне особенно. Выводы Тоболина в шутейной передаче Светловой должны быть развлекательными.

— Хотите изображу?

Все ужасно хотят.

Ей нужен реквизит, за которым она удаляется в свою комнату, и скоро с озабоченным видом выныривает оттуда.

Ее плечо оттягивает портфель, набитый чем-то громоздким. Торопливо подходит к столу, ставит контейнер у ноги, глядит перед собою, полная невеселых дум, и не забывает потрогать руками портфель: здесь ли?

Ей нужен собеседник. Она обращает лицо ко мне, как состоящему с Тоболиным в приятельстве.

— Вы спрашиваете, откуда правонарушение? Очень просто.

Повыше крыльев носа у нее собираются лучики, она слышно втягивает носом воздух, — сам Василий Васильевич расхохотался бы, — очень похоже.

— Спутники одного морехода, не помню фамилию, в давности в Греции жил, после всяких там приключений и неприятностей попали на островок, отдохнули как надо, собираются в путь. Хватились — кое-кого нет. Они искать их. Находят. В большой отдаленности на бережку лежат.

«Что ж вы, ребята? — спрашивают их. — А домой?»

«А нам, — говорят, — и здесь неплохо. Поезжайте, значит, одни».

Домой-то им хотелось, Геннадий Петрович. Кто же домой не хочет? Всякий. Да если бы их кто-нибудь через море перенес! Проснулся бы, — а ты уже у себя, на печке.

Насилу их усовестили. Совесть-то, значит, у них оставалась. Ну и, понятно, добрались они к своим семействам.

А вы думаете, в золотом веке будет рай? Сплошная гонка умов. Людей будет столько, что и воду всю заселят, а мест видных — раз-два и обчелся. Да еще половину должностей займут роботы. Трудно будет, Геннадий Петрович, выбиться в люди. Так что пользуйтесь моментом.

— Вы уклонились от проблемы правонарушений, — напомнил я.

— А с проблемой все ясно. Вы помните гражданина Жмухина, бывшего бухгалтера, который приходил ко мне на прием со списком? Так вот: зло нужно уничтожать вместе с его носителями, по списку, без колготы. И мы очистимся наконец от тех, кто не хочет подниматься на более высокую ступень. До скорого, Геннадий Петрович, заболтался я тут, а у меня сроки горят.

Подхватывает контейнер и быстро удаляется в свою комнату, откуда возвращается уже в роли оживленной девчонки, довольной произведенным впечатлением.

Я осторожно, чтобы не капнуть на дорогую скатерть водой, вынимаю из хрустальной вазы алую, едва распустившуюся розу и вручаю Лиде.

Василий Васильевич ее недооценивает. А может быть, и я.

Аспирант погрустнел, заметив, что она уже без обиды поглядывает на меня и что от хозяина эта перемена не ускользнула; лицо хозяйки тоже приметно разгладилось. По каким-то едва уловимым признакам понимаю, что Лидия сейчас думает обо мне примирительно: мы исподволь обмениваемся взглядами, не отводя глаз и не держа в душе взаимных обид.

Орнитолог жалуется, что и звери не хотят закалять себя трудностями. Выйдешь зимою на пустырь вблизи свалки, а там весь снег звериными следами истоптан. И лисица тебе, и куница. И с пернатыми тоже. Иной год и в теплые края не все улетают. «А впрочем, с ними, может, и веселее? Как вы полагаете, Геннадий Петрович?» Все согласны: видеть суровой зимою прямо у ног доверчивую птицу — одно удовольствие.

Спохватившись, встает. К нему должна прийти машинистка печатать свежую главу. Доцент Светлов спрашивает, почему бы не просмотреть всю рукопись сразу и не отдать ее печатать целиком.

— Возраст не позволяет, Василий Николаевич. Кто потом будет разбираться в моих зачеркушках? Возраст.

Я и Лида провожаем его на лестничную площадку. Прощаясь, он любовно смотрит на нас.

Мы возвращаемся к столу и садимся с нею рядом. Под столом она берет мою руку.

14

Черный кот Чомбе не держит на меня зла. Когда я поднимался в первый корпус взглянуть на цветной телевизор, Чомбе грелся на солнышке у главного входа. Я спросил, не обижается ли он на меня. Он открыл глаза, разомлевше посмотрел, и я понял, что все забыто. У него было время осознать свою вину. Сейчас его уже ничто не соблазняет, сук, по которому он совершал вылазки к гнезду, отрезан у самого ствола.

Телевизор был слегка разлажен, и я довольно скоро его подрегулировал. Включают в холле. кому не лень, регуляторы крутят как попало. Пришлось поставить на столике рядом с ним табличку, где объяснялось, что к чему: к каждому регулятору на схеме провел стрелку с нужной надписью, авось уразумеют.

В коридоре встретился с женою школьного дружка Сережки Соболева. Если бы не знал, не поверил бы, что она может быть чьей-нибудь женою: лет восемнадцати, невысокая, худенькая, вся в конопушках.

Чистила пылесосом ковровую дорожку, перетягивая за собой по длинному-длинному коридору черный провод.

Спросила, не мог бы я посмотреть у них дома магнитофон, разладилась протяжка. Живут они в частном доме на Дачном. Я даже обрадовался встрече, захотелось взглянуть на места, где когда-то озорничали, ссорились-мирились, делились первыми думками.

Сказал, что буду после пяти, а приехал раньше, надеялся побродить по грустным детским уголкам, посидеть у ручья в лесу.

Дачный съежился от времени, дома усохли, деревья уже не были такими высокими и густыми, как прежде, тропинки выглядели узкими и короткими, заборы стали ниже и уже не скрывали того, что делалось во дворах. Раньше на улице было много знакомых, ноги несли тебя по тропинке весело, ты здоровался со всеми, а они с тобою, а теперь все шли своей дорогой, я никому не был нужен, всем был чужой, никто не знал меня и не интересовался мною.

Кажется, был бы рад и бабке Степаниде, но она давно уже не жива. Козла на улице давно никто не держит. На скамейке у дома сидят незнакомые.

Решил сократить осмотр душевных мест и сразу

направился к домику на два хозяина, с крышей в два разных цвета; дом обит каждым хозяином по своему вкусу: одна половина шелевкой в елочку, другая дощечкой без наклона.

Сергей увидел меня в окно и вышел встречать. Голый по пояс, только вымылся после смены.

— Ну-ка, ну-ка, дай посмотрю, — стал я разглядывать его спину, отмеченную рубцами и островками обожженной кожи. Раньше я такого у Сережки не видел.

— Ладно, заходи, потом расскажу.

Он был, как и прежде, веселый и прямодушный, не то что Славка, тот всегда был себе на уме, всегда с прикидкой.

Конопатенькая женушка Сергея уже накрывала на стол.

Ужин я им оттянул — с магнитофоном пришлось повозиться. Сели за ужин уже в восьмом.

Места мы заняли друг против друга, встретились глазами и рассмеялись, вспомнив прошлое, в котором, оказывается, было много до нелепости забавного и грустного. Долго вспоминали обо всем. О чем только не переговорили! Вспомнили даже мышь.

Кто-то из ребят вытряхнул из мышеловки серенькую мышь, и мы взяли ее в кольцо у каменного забора, не желая сразу отпускать. Она ощетинилась, готовая на смертный бой. Славка схватил ее, чтобы перебросить через забор и спасти, а она его цап за палец. А может, ему только показалось. Не знаю, кусаются ли они.

— Ах, так!

Бац ее об землю, и мышь готова.

— Помог? — спрашивает Сережка.

— А что она кусается?

— А ты бы сказал, что хочешь ее спасти.

Когда выпили поочередно, Сергей заключил:

— А все-таки в твоих россказнях что-то было. Тебя нет, и всем скучно.

Поведал и о том, как стал пятнистым. Полез чистить порожний бак из-под горючего, а там были пары уайт-спирита. Накладывал в ведро вязкий осадок со дна, а напарник тянул ведро наверх через горловину. Бак был зарыт в землю. Уже закончил работу, уже поднялся на верхнюю ступеньку, и был почти весь наружи, как липкая подошва соскользнула со стремянки, и он

едва не загудел вниз, ухватился за перекладину, но из руки выпал железный скребок и гулко звякнул обо что-то внизу. Тут все и вспыхнуло. И его брюки тоже. А потом змейки пламени поползли по грязному мазутному песку к другим бакам. А баки были полные. А за ними цеха, а в цехах люди... Сначала надвинули вдвоем с напарником тяжелую крышку на горловину, а потом уж Сергей стал срывать с себя горевшую одежду.

— Но она меня любит и пятнистым, — улыбнулся Сергей, глядя на жену. — Не бросила, когда мне в больнице наращивали новую шкуру. Полгода ходила Как на смену.

Только тут я подметил в ней то, что никак вначале не мог выразить словами, — недетскую твердость взгляда.

Такую не всякому нажить и до старости.

Он уже кое-что совершил, пусть по неосторожности. Почему я не сказал ему об этом? А ведь хотел.

15

Меня влекло бывать на девятом. Тут меня уже признавали своим, даже Лида после двухнедельной разлуки больше не выговаривала мне за то, что я предпочитал ожидать ее здесь. Да и мне самому казалось, что, приходя к Лиде на девятый, я крепче привязывал себя к ней, в своих и чужих глазах.

Теперь я не допускал Танюшку в мысли, сколько бы она ни противилась этому: теперь она просачивалась в них только фрагментами: то поворотом головы, то изгибом шеи, то звуком голоса, в котором нет слов, да еще запахом свеженакрашенных ногтей, о которых она заботилась ежедневно...

А вот распущенные волосы я помню только пальцами. Ничего цельного. Это уже хорошо.

Я не хотел складывать из этих осколков ее цельный образ, не хотел вспоминать ее такой, какой видел недавно в кабине рядом с отмытым Славкой, одетым в вельветовый костюм. Они ехали в центр.

Не знаю, как передавалось все это Лиде, но я был благодарен ей за то, что она понимает меня.

Я ничего не объяснял ей. Не хотелось застирывать словами кляксы в наших отношениях, лучше прополоскать все сразу: покаяться Лиде в подходящее время.

Только не сейчас. Лида решила бы, что с Кисочкой осталась слишком моя большая часть. Чтобы разделаться и с фрагментами, я теперь сплю на полу. Постелил тюфяк и блаженствую. Уже не скриплю пружинами. Теперь мать, сколько ни прислушивайся, не услышит когда я засыпаю.

Меня радовала перемена в доценте Светлове. Вначале он ликовал, видя, что мои отношения с Лидой разладились. На его взгляд, я с самого начала не был достоин ее ни по своим качествам, ни по видам на будущее, но, с другой стороны, он в душе гневался на меня за то, что я стал охладевать к Лиде, что я нашел в ней какой-то изъян, и если бы я раскаялся в своем поступке, то он, идя навстречу капризу дочери, готов был бы примириться с ее выбором, не столько одобрить его, сколько махнуть на него рукой.

Мать Лиды всегда была со мной приветлива, эта верила, что пустого дочь не выберет.

Теперь я был доволен суровой ясностью на душе.

— А вы где-то совсем пропали, Геннадий Петрович, — встретил меня Тоболин, отрываясь от тяжелых, втугую переплетенных томов, откуда он вычесывал с перышком в руках последние соринки: где упустил поставить подпись в протоколе, где оговорку не сделал, где справочку для ясности не поместил. Радостная работа, все готово, а дело не хочется отдавать, выстрадано, как ребенок. И щемит старческое сердце от предстоящих битв на суде: не упустил ли чего, не промахнулся ли, все ли предусмотрел?

Он как режиссер за кулисами, все сделано его руками, все катится по его рельсам, все действует от его двигателя, а его самого не видно, его думы растворились в свидетелях, которых он отыскал, уликах, которые откопал, в общей мозаике, тщательно и любовно склеенной из разнородных осколков. С этими томами уйдут его бессонные ночные часы и замыслы, не измельченные временем.

Он вытащил из глубокого затемнения и показал людям некоторое число малоприметных граждан, чтобы все узнали в них соседей, с которыми долго встречались на лестнице, сослуживцев, с которыми сидели в одной комнате; показал для того, чтобы у всех развеялась мысль, будто ловкие люди неуязвимы, чтобы иной, глядя на них, сказал: а ведь дрянь людишки, пустые и жал-

кие, и как же я сам-то их прежде не раскусил, когда доводилось их видеть?

Чтобы те, кто придет в судебный зал, подумали: «Однако ж, сколько веревочка ни вейся!..».

Чтобы тот, кто еще ест незаработанный кусок, загрустил, чтобы этот кусок застревал у него в горле, чтобы окружающее показалось ему черным, а каждая минута последней.

Чтобы тот, кто побывал на девятом, рассказал бы и дома, и на заводе, о чем говорили с ним, какой разум выказали, какое уважение к нему проявили.

В комнату мужским шагом вступила женщина, которую здесь я уже видел. Ее нельзя было не запомнить. Выкроена и сшита без подгонки, руки чуть-чуть великоваты для нее, черты слишком определенны, жесты решительны.

Села у стола Светловой на гостевое место. Сидит, не зная, куда деть руки. Она во всем новом, дорогом, непривычная сама себе. Взглянула на всех: вот где, наверно, благодать — тишина, уют, ни горюшка, ни забот.

Лида вызвала ее по настоянию Тоболина. Евдокия Белокозова должна была сказать, куда уехал ее сожитель.

«Будет он мне докладывать. Я сама настрадалась от него», — отвечала она в прошлый раз. Лиде неловко перед Белокозовой. Второй раз об одном и том же.

Белокозову не нужно было ни о чем расспрашивать, ее следовало останавливать, чтобы она не затопила рассказ подробностями. Но Лида не собиралась ее одергивать. Пусть Тоболин послушает.

— Показываю на работе эту повестку, а начальник мне: «Не вмазалась ли ты, Евдокия, в какое-нибудь дело?» Иду сюда и думаю: спрошу же я, за что меня таскают. Моему пьянюшке хорошо, подался отсюда и с приветом, а я теперь ходи. Вот оно как получается. Собралась в деревню, родных проведать, а почтальон опять эту бумажку. «Распишись», — говорит. Спасибо. Целую неделю ждала...

Она отпихивает от себя повестку, лежащую у края стола. Лида поглядывает на Тоболина.

— Я вам вот что скажу, я сама с ним страсти натерпелась, хоть отбавляй, как придет домой выпивши, так и начинает: «Где ты вчера была, да с кем стояла, да почему на час позже домой пришла и ужинать не ста-

ла?» А тут не до ужина, с ног валишься, а он про свою ревность.

Ей не больше тридцати пяти, а дашь лет на десять больше.

— Бил не раз, в синяках ходила, все соседи знают, а зимою взял щипцы и давай рвать воротник, коричневая норка, сто пятьдесят отдала.

Лидия поглядывает на Тоболина, пусть усекает, каково женщине жилось. На бумаге оно так не звучит.

— Теперь тебе, говорит, не в чем будет по гулянкам ходить, давай, говорит, сажай меня на пятнадцать зорь. Соседи без меня милицию позвали, его посадили в машину и увезли. Так я хоть за пятнадцать суток впервые вздохнула. Ведь что делал? Придет ночью пьяный и начинает пластинки крутить на полную, а мне спать надо, в шесть уже в котельной быть. Да если бы я знала, где он, первая бы вам шепнула, что мне, две копейки жалко? Позвонила бы по автомату, мол, так и так, вот его адрес. Спокойней было бы, а то вы дело в давность заведете, а он опять ко мне припожалует, и все по новой.

— Уж вы, Евдокия Васильевна, можете быть спокойны, — утешает ее Лида, — статья у него такая, что если задержим, не скоро обратно придет, воротников мно-о-ого износить успеете.

— А в милицию вы ходили? — спрашивает Василий Васильевич сочувственно.

Не выдержал, и его проняло.

— Это когда он дебоширил? Ну, а как же. Словесно с участковым говорила. Без последствий получилось. Пожалела я его, думала, в ум войдет.

— А за что же он соседа ножом?

— А кто их знает. Склока у них. Сосед, чуть что, бежит на телефон по каждому пустяку, ну, понятно, опять эта машина. Из-за этого и завелось. Выйдет во двор посидеть, а сосед с балкона глядит, как пограничник.

— Значит, попался кляузный.

— Язва пропадная, и все. И мужику твоему, говорит, и тебе получку надо платить, когда экзамен сдадите, как надо самим себя вести. А не сдадите, выдавать половину, только на хлеб и сахар, вам, говорит, лишние деньги — пагуба. Ну я ему тоже сказала...

— А получку он вам отдавал?

— Какая у него получка? То за брак вычтут, то за прогул, а четвертая часть — алименты.

Василий Васильевич попросил у Светловой дело (так называют папку с опросами и всякими бумагами).

Подает. Уже довольно толстенькая.

Что он там высмотрел, неизвестно, только крылья хрящеватого носа дрогнули, осторожненько потянули воздух. Белокозова с неожиданной тревогой посмотрела на него. Бумаги, особенно когда их так много, пугают.

— Больше мы вас, Евдокия Васильевна, волновать не станем. Он будет задержан в самое ближайшее время, поступили самые точные сведения. Хотели узнать и вашу позицию. Можете идти по своим делам.

— А записывать, значит, не будете, что я рассказала?

— Не будем. Хватит бумагу переводить, пора с ним заканчивать.

Она с каким-то особенным, как мне показалось, вниманием взглянула на строгое решительное лицо Василия Васильевича, поняла, что у таких слова с делом не расходятся.

Разговор окончился стуком о дубовый паркет ее новых босоножек, откуда высовывались большие пальцы с желтоватыми ногтями, из вида которых Василий Васильевич извлекал какие-то мысли.

Как только за нею закрылась дверь, он позвал к себе по телефону проходившего практику студента, о чем-то пошептался с ним, отойдя в угол к шкафу с бланками, и студент спешно удалился.

Этот парень — любимчик деда, говорит одними глазами, обходится десятком слов, больше за месяц я от него не слышал, зато бумаги пишет, по словам Тоболина, как соловушка поет, с переливами, все обосновано до тонкости, все по пунктам и разделам. Василий Васильевич часто с интересом смотрит ему вслед. А Лида говорит, что он подлиза: машинистка то и дело зовет его разбирать иероглифы начальника, а все потому, что машинистка имеет на него виды и почерк начальника она и сама неплохо разбирает. Если машинистка и впрямь ему приглянулась, то я ей не завидую, их разговор будет односторонним. Я ощутил тревогу, точно Василий Васильевич что-то замыслил против Лиды, но, взглянув на нее, успокоился, она оставалась невозмутимой, на ее лице даже промелькнула усмешечка, она

не чувствовала никакой опасности для своего авторитета и воспринимала непонятные мне замыслы деда как пустые.

В эти часы и Тоболин и Лида обычно заполняют, или, как тут говорят, выписывают, повестки людям, которые должны прийти через два дня на третий, и сами опускают их в почтовый ящик на главной почте, где письма вынимают чаще. Этим оба и занялись.

Она заполняет бланки быстро, красиво, с готового списка, где против каждой фамилии — адрес, и складывает повестки на угол стола ровной стопкой, на каждом бланке заранее наклеена марка и внизу вместо обратного адреса поставлен служебный штамп.

Василию Васильевичу за нею не поспеть.

Он заполняет бланки неторопливо, адреса отыскивает на страницах дела, порою задерживается взглядом на анкетной части, если человек уже был допрошен. Кажется, он уже видит этих людей, представляет себе, что они подумают, получив повестку, что скажут жене, детям, с какими мыслями будут сидеть у телевизора, уже теперь хочет предузнать, с каким видом и словами они войдут к нему в кабинет, как сядут, какими будут их ответы.

«Из-за этой неповоротливости он и не выдвинулся, не современный», — сказала о нем Лида.

А я и сам такой. Мне одной правильной мысли мало. Мне нужно, чтобы она упала на благоприятную почву, проросла во мне, не казалась бы случайной, ненадежной.

Минут за десять до конца работы позвонил Колюшка (так звала его Лида). О нем уже не то чтобы забыли, а как-то перестали на время думать.

Оказывается, Белокозова, прежде чем отправиться домой, зашла на главную почту, это за углом, напротив сквера, и дала телеграмму в Караганду о том, что Миша тяжело болен.

Василий Васильевич на Лиду не взглянул, словно она ко всему случившемуся не имела касательства. Голос был ровный, в движениях никакой спешки, изготовил бумагу с круглой печатью и как ни в чем не бывало послал Лиду отнести ее на почту. Когда она вернулась с телеграммой, он ушел в соседнюю комнату и позвонил куда надо.

Потом, вернувшись, поставил тома в сейф, будто книги на полку, так они помещались там все, прибрал

палубу, выровнял стопки кодексов, поправил сдвинутый с места телефон.

Лида все сидела за столом, хотя повестки уже были заполнены и рабочий день закончен, словно ждала, что Василий Васильевич ей все-таки что-нибудь скажет.

А он, положив перед собою старческие руки на исцарапанное стекло, смотрел в окно, точно говоря: и вот таким, как Лидия Васильевна, придется уступить место, не по праву честного соперничества, а потому, что скажет свое слово жестокое время.

Сначала ушел он, потом и мы с Лидой.

Мы сидели с нею в сквере и наблюдали, как женщина придает садику опрятный вид.

— Почему ты на нее всегда так смотришь? — спрашивает Лида.

— Сам не знаю. Облегчение какое-то. Прошла, а вслед за нею все прибрано.

— Это он сделал намеренно, — вдруг сказала Лидия. — Ему нужно было разыграть сцену с этой Евдокией, а на себя не надеялся, боялся, что Евдокия не поверит ему, голос-то у него подходящий. для комедии, а вот глаза нет-нет да и заискрятся. Пусть, мол, Лидия Васильевна по простоте своей сама себя сыграет, Евдокия увидит, что ей некого бояться, что я совсем не опасна, и высунется из скорлупки на самый малый миг, а он и посмотрит на нее. Мы у него с Евдокией были как подопытные.

Она отвернулась, но мне было видно, что губы ее вздрагивают.

Я взял ее за руку. Она взглянула на меня глазами, полными слез, и уткнулась в мое плечо.

Теперь-то я знал, что она только на вид сильная. Я привлек ее голову и перебирал пряди мягких волос.

Вряд ли у Василия Васильевича была цель досадить Лиде. Думаю, все произошло само собой, а со стороны кажется, будто и случайность у него на поводке.

Когда Лида наконец успокоилась, мы еще долго сидели на скамейке. Старухе с трудом давался каждый поднятый смятый комок, выуженный из травы окурок.

Фонтан своим участливым шумом утешал и старуху, и нас.

А во вторник вечером последовало продолжение.

Лида уже заперла сейф и вернулась к столу, чтобы

взять сумочку, а я уже стоял у двери, как в комнату вошел их начальник. Не вошел, а вторгся. У него такой быстрый шаг, что развеваются штанины.

Весело поздоровался со всеми, даже со мною.

— Что же вы мне вчера не доложили, что провели личный сыск? Узнал только сегодня в милиции. От своих-то было бы приятнее узнать, недалеко ведь, через стенку сидите.

— Только сейчас, Иван Николаевич, заглядывал к вам, но вас не было, — сказал Тоболин.

В кабинет к начальнику он не заглядывал, еще в обед узнал, что он в отлучке.

Тот продолжал допытываться, каким образом все это столь складно вышло.

Как вышло? Студент случайно увидел Белокозову на почте, понес повестки опустить, а она там. Подавала в окошко телеграмму. Он, разумеется, полюбопытствовал. Оказывается, в Караганду. «Миша болен». Вот и весь сыск.

— Так уж случайно встретился? Вы же мне говорили, что опять вызываете ее.

— Может, и не совсем случайно, Иван Николаевич.

— Ну то-то. С этого бы и начинали.

Лидия сидела, ожидая с минуты на минуту, как дедушка красочно известит шефа о ее вчерашнем позоре. «Если уж говорить, то скорее. Зачем истязать ожиданием».

Василий Васильевич взглянул на нее, увидел, что она сжалась в комок и сделалась меньше рукавички.

— Лидия Васильевна пообещала ей, что после того, как его найдут, они до пенсии не увидятся, — сказал Тоболин. — Разъяснила ей статью сто вторую. Ну та и побежала на почту.

Начальник с любопытством повернулся к Лиде. С ее лица и шеи еще не схлынула краска стыда, которая показалась теперь румянцем скромности.

— Значит, разъяснили суть статьи, Лидия Васильевна?

16

У бати озабоченно-веселые глаза, они светятся предвкушением какой-то радости. Ему легче. Ему никогда ничего не обещали. Он с самого начала знал, что дол-

жен надеяться только сам на себя, на свои тесные возможности. А мне постоянно кажется, что мне кто-то и что-то должен, но не отдает, хотя и понимаю, оглянувшись вокруг на соседей, на знакомых, на ребят в мастерской: кто же из них может мне задолжать? Кто же из них мне обязан? Да и не только из них, но из тех, кого я не знаю по имени, но вижу вокруг себя такими же озабоченными, как я сам. Они-то с какой стати должны быть мне обязаны? Батя начисто лишен этого дурного, расслабляющего волю чувства, не ищет причины тихого хода по жизни в посторонних запрудах, да и вообще не отыскивает никаких причин, ему некогда: у него букса, он должен ее одолеть, она уже поддается, уже сдвинулась с места, пошла, нужно, чтобы это увидели и другие и порадовались бы вместе с ним.

А пока радуются только двое, он и Полозов. Они как братья — любовь и уважительность.

Сегодня ими что-то затевается.

Отец отпаривает утюгом выходной костюм, напевая свой любимый гимн: «Лучше в поле пропадем, а к Федоре не пойдем», наводит блеск на ботинки, взял у меня белую рубашку и темный галстук. Когда он переодевается, я вижу его крепкое тело. Он худощав и жилист. Гимнастикой не занимается, зато пробегает за смену километров тридцать вдоль своих товарняков.

Если идем вместе и он прибавляет шагу, я за ним едва поспеваю.

Брился не электрической, а безопасной бритвой, до блеска, не забыл освежиться лосьоном. А сам все посматривал на часы.

Полозов позвонил ему в свой обеденный и долго наставлял. Батя только весело поддакивал. Уже при всем параде читал в кухне, закрывшись, что-то вслух. Ушел из дома, не пообедав, с каким-то бумажным сверточком в руках.

Записную книжку он теперь не прячет, а кладет в спальне на шкаф вместе с шариковой ручкой, — вдруг вечером или ночью осенит мысль? Любопытно, не прибавилось ли там чего-нибудь новенького?

Отрываюсь от наскучившего курсового и шлепаю в спальню.

«Они удивляются, как это я, не заглядывая в самую буксу, говорю им, что она неисправна. Им кажется, что научиться этому способны один-два человека, нормаль-

ным людям такое не под силу. Привычка не утруждать себя страшнее работы. Ведь все детали тележки, да и только ли они, в следах трения. Надо только уметь их читать: металлическая пыль, стружка, следы сдвига, валик ржавчины — каждый след кричит свое!

Один даже приезжал без всякой командировки. Заело его, стаж долгий, а такого не слышал. Две недели потом ходил у себя по парку, приглядывался к тем вагонам, какие готовили к отправке. Искал «следы Щепкина». Когда находил, показывал другим. Подобрал подшипники с разными типами дефектов и выставил, как в музее «Уголок Щепкина». Чудак. Если один может, почему не сможет другой?»

Перекидываю страницу. Сложенная вчетверо записка. Разворачиваю.

«В студию нужно взять с собою два-три подшипника, будет нагляднее.

Не читай по бумажке, пусть она лежит рядом, будешь видеть, что она при тебе, и перестанешь волноваться. Говори так, как будто рассказываешь мне. Мы втроем будем слушать тебя дома: я, О. Ф. и Павлик».

Так вот он куда побежал!

Когда вечером пришла мать, я уже сидел перед экраном. Она побросала пальто, кофту, шапку на диван и, не раздеваясь, опустилась рядом со мной.

Батя был не похож на такого, какого мы знали. Интеллигентная знакомая личность непринужденно объясняла ведущему тайну маловидимых следов, которые может обнаружить глаз, если будет пристальным. Личность демонстрировала подшипники, выглядевшие вполне исправными, однако по едва заметным признакам личность достоверно знала, на каком километре от станции подшипники станут нещадно греться и вспыхнет факелом смазка.

Никаких трудных слов. Привычный язык записной книжки.

Ведущий не догадывался, что батя делится мыслями не с ним, а с Игорем Николаевичем, который одобрительно кивал ему после каждого уподобления и сравнения.

От знакомой личности отдавало чем-то ученым. Приметы были сведены в стройную систему, а путь поисков выглядел захватывающим. Держалась личность сво-

бодно, словно такие лекции ей приходилось читать каждый день.

Вопросы ведущего были хороши тем, что не могли помешать отцу разворачивать поэму о приметах Щепкина. Слишком тонка была материя, чтобы опережать отца подсказками. Можно было только вежливо кивать.

Я украдкой поглядел на мать. На ее лице недоумение и тревога. Ей тоже личность на экране только внешне напоминает отца. То, о чем батя рассказывает людям, она могла бы узнать раньше. А теперь довольна тем, что избежала конфуза.

Явилась бы завтра на службу, а женщины стали бы делиться впечатлениями о том, как он выглядел, как держался, как говорил, а она, его супруга, ничего не знала бы. Все только переглянулись бы.

Неужели все, о чем он так увлекательно толкует, из того самого замасленного блокнота?

Сегодня утром на автобусной с отцом приторно-любезно раскланивался Сулимчик, тот самый, кто больше всех тиранил батю насмешками и запрещал ездить на чужие перегоны даже после смены. А теперь такой оборот! Было собрание, Сулимчик сел поближе, в первый ряд, чтобы, как только позовут в президиум, сразу подняться на возвышение. А его не выдвинули, а выдвинули батю.

А мать и я все смотрели и смотрели на экран.

17

Без Николая Ивановича в мастерской вожжи ослабели. Приемщица сказала клиенту, что его цветной ящик починить нельзя. Долго копалась в нем сама, потом позвала Маришкина. Тот с готовностью обследовал и тоже авторитетно подтвердил. «Везите обратно». А такси уже отъехало. Да и на кой леший брать его назад! Только деньги платить и рабочий день терять? И трубка, и блоки сгорели. Он его и бросил. Сказал, что надоело с ним мучиться. Много раз чинил.

А Маришкину почти не пришлось его ремонтировать. Задымил конденсатор. Сделал за час и продал знакомому в овощную палатку. Клиент опомнился, звонит мне. «Хочу сдать его за двадцать рублей и взять новый».

Спрашиваю у приемщицы.

— Мы его выбросили.

— Куда?

— Почем я знаю. Спрашивай у Маришкина.

Зову Маришкина в закуток. На рабочее место к нему не пошел.

— Какой-то радиолюбитель взял.

Пришлось ответить клиенту, что уже поздно. Кто-то из-за ящика взял.

Огорчился мужчина. По голосу чувствую.

— Так скоро?

— Нам же их негде хранить, — отвечаю.

Повесил трубку.

Зову Маришкина снова.

— Ты мне очки не втирай. Радиолюбитель может починить, а мы нет? На чем увезли?

— На такси.

Звоню в диспетчерскую. Шофер по свежему следу должен помнить, куда отвез. Стали наводить справку. От мастерской никто ящика не забирал.

Снова зову Маришкина.

— Ты поедешь сейчас и привезешь телевизор назад. Иначе с тобою сам Николай Иванович будет разбираться. Мне осталось неделю доработать, а ты мне свинью подкладываешь.

Николаю Ивановичу, наверно, не признался бы, а мне покаялся. А тут еще деньги не успел растратить. За сотню продали. Через какой-то час вдвоем с нею сами на руках притащили. Палатка у базара, в самом центре. Деньги вернули.

— А теперь ищи клиента.

Он к приемщице. Та: не знаю. Вижу, боится. Слово на собрании давала.

— Хорошо, — говорю, — пусть стоит до Николая Ивановича.

— Я тут ни при чем, — сказал она.

— Выходит, я один при чем? — говорит Маришкин и злой ушел к себе.

Два дня простоял телевизор в конторке. Работает на загляденне. Видят, скоро Николай Иванович из отпуска появится. Шкуру спустит. Утром назвала мне адрес и подала заявление на уход.

— Я такой же, как и ты. Придет сам, ему и подавай. — Вернул ей бумажку.

Вызвали клиента. Рад без памяти. Денег не взяли, лишь бы развязаться.

У Лидии не был целых три дня. Решил посоветоваться, докладывать ли обо всем Николаю Ивановичу или нет. Может быть, оформить заказ?

У нее — человек, хотя уже седьмой час. Неприятно скребет на подбородке щетину. Конвоир уже одернул его, а он забудется и опять за свое. Звук этот Лидии неприятен, она поднимала голову от протокола и с недоумением смотрела на мужчину.

Читает ему протокол, и тут-то я понял: больной Миша! Быстро же его привезли. Значит, самолетом. Видно, считается важным. Уже с любопытством гляжу.

Слушает ее голос с облегчением: не придется на сегодня говорить то, чему сам не верит. Берет шариковую ручку, чтобы расписаться, но Василий Васильевич его останавливает.

— Нескладно у вас выходит, Михаил Денисович.

И выкладывает с доброй усмешкой для взаимного обсуждения то, что находит нескладным:

— Ножа у меня не было, кто поранил соседа — не знаю, сказали вы. А на первом допросе в Караганде поделились со следователем, что вооружились ножом с двусторонней заточкой. Если там вы сказали неправду, то почему же у потерпевшего ранение с обоими острыми краями? Как же вы могли угадать, Михаил Денисович, что удар нанесен обоюдоострым ножом?

Это первое.

Были у Василия Васильевича и другие резоны. Он Мишу не уличал, а советовался с ним.

В Караганде Миша показал, что первый удар был нанесен в область плеча. Как раз в этом месте и найдена рана. Откуда же обо всем этом Миша мог знать, если пальцем его не трогал?

На пальто соседа найдены микроволокна от шарфа, а сам шарф обнаружен у Миши в чемодане.

В том же чемодане лежал Мишин свитер, а на нем и сейчас плохо замытые следы крови одной группы с кровью раненого. Снаружи-то их замыли, а изнутри не догадались. А может, и времени недостало, могли друзья прийти, а тогда уже не до пятен.

— Нет, Михаил Денисович, ваши показания в Караганде — истинная правда.

Миша слушал со вниманием.

— Конечно, если вы не захотите видеть то, что видят все, то, сколько бы вам ни выкладывали самых спра-

ведливых доводов, вы от них отвернетесь. Из-за одной злости. А злость не друг вам. Видите, куда она вас завела?

Солнце держало в своих горячих руках наши лица. Оно одинаково любило всех, находившихся в комнате.

Гул жизни был слышен снизу всем одинаково, а понимали его по-разному.

Ветерок в раскрытую дверь, забранную частыми полосками, овевал всех один.

— Когда процент алкоголя у вас в крови сильно снизится и клетки и органы станут понемногу забывать его и перестанут мучиться, корчиться, бунтовать от его недостатка, вы на досуге подумайте, у вас есть над чем подумать, да и злоба у вас больше алкогольная, чем природная. Обида у вас на соседа тоже алкогольная, оттого, что все перестали вас уважать, а вы-то сами знаете, какой вы известный работник. А когда мысль начнет у вас работать своей силой, вам цены не будет. Вы безалкогольной мысли чуть-чуть пособите, не одергивайте ее, а она вас за это спасет, вытащит из болота.

А то, что вы сейчас и нами недовольны, то это напрасно. Может быть, у вас и есть какое-нибудь словечко нужное, а из-за этого недовольства оно при вас так и останется, а оно, глядишь, чем-нибудь вам и пособило бы и тут, и на суде.

Молодой конвоир, по внешности из недавних сельских, слушал Василия Васильевича, чуть-чуть приоткрыв рот

Дверь растворилась, и в комнату заглянула Евдокия Белокозова с хозяйственной сумкой в руках.

Арестованный встретился с нею взглядом, ставшим на миг живым, но, вспомнив, что Евдокия, хоть и близко от него, но в другом измерении, погасил взгляд.

Василий Васильевич попросил ее подождать в коридоре, передачу обещал принять.

— Не забывает она вас, Михаил Денисович, а ведь вы и ее беспокоили, ох как беспокоили.

Миша, по всему, признавал, что беспокоил.

— А теперь я зачитаю вам показания потерпевшего, чтобы напомнить вам, Михаил Денисович, как все это было на самом деле.

Зачитывал документ, казалось, не Василий Васильевич, а совсем другой человек. Голос звучал сурово и выразительно.

Миша был поглощен показаниями ненавистного соседа и хоть молчал, но взглядом и движением лица выражал свое негодование.

— Да я ж ему совсем не так сказал. Я сказал ему: «А за что тебе пенсия? Ты же отирался на складе и каждый год в дом отдыха ездил. Я же тебя знаю как облупленного. Да кляузы каждый день пишешь. У тебя еще чернила на пальцах не обсохли. Вон погляди». Он в ответ даже взвизгнул: «Это я письма сыновьям писал». — «И сыновья у тебя такие же», — говорю. «У меня, — кричит, — сыновья на нефтепроводе». — «Значит, — говорю, — в моржовый край от тебя смылись. Правильно сделали. Путевки на свои купят». А он плюнул на меня при всех...

Я его хотел тапочком, а Дуська тапочки убрала, всегда прибирает, чтобы как у людей, не валялись... Неужели за такого не сбросят срок?

Василий Васильевич не торопясь выяснил, что последовало за тем, когда Миша не нашел на месте своих тапочек.

Протокол Лиде пришлось составлять заново, а пока она была этим занята, Василий Васильевич толковал с больным Мишей о житейских мелочах.

Лида обычно выясняет лишь то, что необходимо для процедуры следствия, а Тоболин не пренебрегает и неофициальными пустяками, даже испытывает к ним любовь.

Не забыл спросить, не ломало ли Мишу, когда его привезли в «иваси». Оказывается, ломало. Не находил места на нарах. Взяли в самый запой. Плинтус был засыпан каким-то порошком от тараканов. Он сгреб его и наглотался. Промыли желудок, еле отошел. А с другой стороны, доволен, что запой прервали и не было обычных кошмаров. В начале запоя на работе такое привиделось, что от страха чуть не умер. Начал уголь в котельной кидать, а позади шепчутся: «С работы пойдет, а мы ему жилы на руках — чик». Взял он лопату и в кладовую, поглядеть, где они прячутся. А там никого нет. Вот и хорошо. Значит, струхнули. Только опять начал кидать, снова голоса: «Главное, надо ему жилы на правой перерезать, чего тянуть резину. Как только зазевается, курить начнет, так и сразу». Спрятал он правую руку в карман, а левой какая работа? Надо, думает, потихоньку домой двигать. И говорит вслух:

«Пойду снаружи окошко в подвал закрою, чтобы за углем не лазили».

А сам вышел, да в калитку, да бегом вдоль забора, да наискосок проходняшкой на другую улицу и домой.

Слышит голоса: «Ну, теперь ему отсюда никуда. Погляди, что он там делает». Видит глаза на потолке.

«Ну чего вы смотрите,—говорит,—тут я, никого не трогаю». — «А ребенок где твой, а жена? Что ты с ними сделал?»

«Да что вы, — говорит, — вот они, у меня на карточке, живые сняты».

Поставил табуретку и показывает им фотокарточку жены и пацана.

«Вы, ребята, — говорит, — или как вас там, бросьте, это на меня наклепали, алименты я плачу».

Слезает вниз, нашел квитанции, опять встал на табурет, показывает.

«Ты, — говорят, — очки нам не втирай. Что с ним толковать, проволоку ему в нос — и хана!»

Начали они ломиться в дверь, он схватил топор и ну дверь крушить. Вышиб филенку, высунул голову, а сам нос рукой закрывает, чтобы проволоку не сунули. Смотрит — никого нет.

А из кустов голос:

«Мы же тут, никуда ты от нас не денешься. Лучше сам чин-чином в петлю».

«Так у меня же нет, — говорит, — никакой бечевки».

«А ты вон веревку сними».

Пошел он снимать, а бабка кричит:

«Зачем снимаешь?»

«Они вешаться требуют».

«Кто они?»

«Вон те, в кустах».

«Да там, —говорит, — никого нет».

Отобрала веревку, а его в «скорую».

— А сейчас-то они наведываются? — спрашивает Василий Васильевич участливым тоном. — Вы с ними поосторожней. На хоздворе следственного изолятора проволоки сколько хочешь.

Миша улыбается, понимает шутку.

Лидия подает ему на подпись протокол. Рука у Миши дрожит. Он с трудом расписывается. По шестому разряду с такими руками уже не сработать.

Когда за больным Мишей приехала серая без окон машина с подножкой позади, излишним позвонком, дошедшим до нас, как пережиток эволюции, он расставался в Василием Васильевичем, будто с приятелем.

А почему б ему опять не вернуться на вымощенную дорогу, по которой он не хотел идти дальше?

У меня уже не было зависти к Лиде и ее посту, к ее важной службе. Соответствовать этому посту очень трудно, почти невозможно. Для этого должна быть полная душа, одной технической победой тут мало что сделаешь. Чему завидовать?

У фонтана Лида сказала мне, что Василий Васильевич, как только я прихожу, тотчас отыскивает повод умалить ее в моих глазах.

Газон был острижен наголо и чист. Ни бумажки, ни окурка. Старуху мы уже не застали.

Лида посоветовала непременно рассказать о телевизоре Николаю Ивановичу, а он уж как хочет. Я и сам так думал. Теперь приемщице в мастерской не работать.

18

На кого бы Светлова могла излить свою доброту, накопленную за неделю служебного общения с дурными личностями, если бы не замещала порой то одного, то другого из отсутствующих помощников шефа и не принимала бы посетителей?

Они идут сюда, как в дом родной: иные по пути в магазин или на базар, сумки и бидоны ставят рядом со столом, другие особо. У каждого наболевшее. Один просит урезонить соседа; другой недоволен мастером, срезавшим премию; третий с жалобой на паспортный стол, где не прописывают семейного внука к бабке; иной просит выпустить малого, посаженного второй раз; родители умоляют повлиять на парня, который не хочет жениться на их дочери, несмотря на совместную отлучку на целые сутки, — каждому своя боль самая больная.

Попадаются такие, кто начинает причитать и всплакивать от самой двери, а когда понимает, что просьба не будет уважена, как он, по всему, предполагал и сам (теперь ведь все грамотные), он говорит деловито «до свиданьица» и уже со спокойным выражением покидает комнату, дальше-то зачем плакать.

Наиболее настойчивы, как я заметил, участники обоюдных ссор, переходящих порой в активные действия. Лида, пригласив их, сажает рядом, она до глубины души сочувствует им обоим, и, если удается втроем поговорить о чем-нибудь отвлеченном, оба уходят, довольные беседой, и смотрят друг на друга мягче.

К тем, кто для себя ничего не просит, а возмущен замеченной нерадивостью или потаскиванием чего-нибудь общего, с сугубым вниманием прислушивается из своего уголка Василий Васильевич. Стол у него наполовину затенен выступающими ветками тополя, и в жару ему там уютно. Он не настаивает, чтобы человек называл себя, если тому не хочется, но тщательно все записывает, задает тоненькие вопросы, от которых посетитель оживляется, понимая, что старик дельный. Дает посетителю свой телефон. «Так, знаете, на всякий случай, вдруг появится охота позвонить, а если нет, так и не нужно».

Приходят и по малым словесным обидам. Теперь обиды приметней, выбивают человека из душевного ритма, умаляют его ценность в глазах друзей, знакомых, сослуживцев и в его собственных. Из-за них бросают хорошую работу, разменивают квартиры, лечат сердце и сосуды.

В письменных жалобах много цитат и самых решительных слов.

Иные переливают в Лиду свое недовольство то свекровью, то невесткой, то внуками; им важно, чтобы их выслушали, поняли, одобрили, важно, чтобы их боль кто-то принял в свое сердце, не оставил без внимания.

И Лида принимает их боль в себя и оставляет о ней следы в журнале приема посетителей... Одно другому не мешает. Боль уже официальная. Подумав, можно и пригласить повесткой тех, от кого зависит, чтобы эта боль стала меньше.

Я пришел сегодня на девятый с Григорием Ивановичем. У него тоже боль: не регистрируют собранный с великой любовью и тщанием автомобиль иностранной марки. Механизм в нем идеально отлажен, внешний вид великолепен, никакой угрозы дорожной безопасности автомобиль не представляет, — а не регистрируют. Доводов никаких. «Слишком жирно, у отца автомобиль, у сына, брали бы внуку и приходили бы сразу — мы бы вам одним заходом отказали».

Григорий Иванович сидит в коридоре у двери, его очередь после женщины, недовольной размером пенсии. Слышно через дверь, как она жалуется Григорию Ивановичу на то, что не виновата в перелетах с места на место: мало платили.

Если ее вот-вот не пригласят, она примется выкладывать ему свои беды во второй раз. Самое обидное — подругам платят выслугу, ей нет, а работали рядом.

Я сижу возле стола Василия Васильевича и поглядываю на то, как он цветными карандашами набрасывает схему. Кружочки, квадратики, созвездия эпизодов, организаторы, пособники, ротозеи. Видя мое любопытство, он говорит своим негромким вразумительным голосом, как будто беседует с самим собою, не поворачивая ко мне головы и по-прежнему занятый чертежным трудом:

— Не надо было возить с базы левый товар, не нужно оглядываться при перевозке, как бы не застукала милиция, не нужно прятать товар под прилавок от чужих глаз, не нужно посматривать, не идет ли ревизор, не захватит ли с неучтенной партией. Нечего пощупать рукой. Ничего не перевозят, не прячут, не таят. Обмениваются документами.

Он прочерчивает жирную стрелу — это туда.

Прочерчивает новую.

— Это обратно... И выручка взята.

Наконец Лида позвала из коридора и Замылина.

Услышав эту фамилию, Василий Васильевич живо поднял голову от схемы и обратил свое подвижное лицо в сторону двери. Складки на лбу, возле глаз и рта изобразили живейший интерес.

Григорий Иванович встретился со взглядом Тоболина у самой двери, на малую толику минуты насупился, но тут же разгладил выпуклый оголенный лоб, и выражение радости обозначилось на его лице.

Я понял: не ждал Григорий Иванович этой встречи, полагал, что не может самостоятельный человек весь век сидеть за одним столом, на одном и том же месте. Возможно, где-то и случается такое, но Григорию Ивановичу не приходилось видеть.

Тоболин встал и, окончательно освоившись с новым, сильно переменившимся обликом гостя, радостно протянул ему сухую жилистую руку. Она утонула в рабочей ладони Замылина.

Но сначала — больной вопрос. Лида, выслушала

Григория Ивановича, изучила квитанцию о взносе молодых за кооператив, властно поговорила по телефону с кем-то из ГАИ, и уведомила Григория Ивановича о том, что машину ему зарегистрируют.

И только после этого Замылин переместился к большому, как теплоход, столу Тоболина.

Василий Васильевич разглядывал костюм из белой нездешней шерсти, сидевший, правда, на нестандартной фигуре гостя без того изящества, каким ожидаешь насладиться при виде столь дорогой и редкой ткани, разглядывал его массивную, заматерелую фигуру, которой не предвиделось износа, а больше искал что-то в мудром лице Григория Ивановича, который нимало не стеснялся такой любознательности да и сам ощупывал острым глазом давнего знакомого.

— Не ждал я, что вы еще при деле. Как говорится, гора с горой... А я ведь уже на пенсии, времени порожнего навалом, если бы знал, что вы тут, давно бы заглянул, молодыми встречались. Гляжу вот на вас, как в зеркало, и себя таким же пожилым вижу. К зеркалу-то привыкаешь, а посмотришь в человека — и сам у себя как на ладони, со всеми зазубринами. Возраст такой наступил, не успеешь оглянуться, а вокруг тебя ни друга, ни врага — все прибрались, все помирились.

— А вы не огорчайтесь, Григорий Иванович, вон в книжках пишут, что во всяких летах своя прелесть. Хоть и постарели, зато выглядите мудрецом. Правда, вы и всегда им были.

Григорий Иванович задержал на Тоболине взгляд, но быстро вернулся к нити начатого разговора.

— Да вы уж не подумайте, что я совсем неудельный, копаюсь понемногу. Спрос на мои руки еще есть, помогаю своим.

— По дому, значит?

— По дому убыточно, Василий Васильевич, по дому старуха, а я все больше в сарае, и летом, и зимой, со своими железками, люблю их.

— И не скучно?

— Так ведь некогда скучать, Василий Васильевич. От знакомых нет отбоя, тому помогу, этому. Без дела не сижу. Лодки, машины латаю. Моторы, сварка, покраска. Теперь ведь людей насчет машин не ограничивают, труднее гараж пробить, чем тачку, мокнут машины под дождем, зимой снегом заносит, металл сдает, он не

человек. Вот я, значит, и опять нужен. Напрасно мой родитель горевал, когда с деревней расставался. Еще живой, дом у него на Ямках, садик, пчелы. Внучка при нем.

— Тачки латаете и свою, значит, завели?

— Быть у воды и не замочиться... Купил по случаю. Марка хоть и не наша, а не жалуюсь. На окружной никто не обгоняет.

— Это не ваша ли стоит под окном?

— Моя. Поставил на час номера, взял у сына. Из наших-то краев до вас далеконько. Да и подумал: вдруг потребуется при разборе жалобы, пусть взглянут. Не какая-нибудь самоделка. Все по нормам.

— А я уж подумал, что приезжие пожаловали на третий этаж, а она, выходит, ваша.

— Моя, Василий Васильевич. Когда взял, металла в ней на сто рублей было, а работы на десять тысяч. Сделал. А вы, Василий Васильевич, все на посту?

— Служу, служу. Пока еще не прогоняют.

— И дела, значит, есть? А тогда-то, помните, думали, наверно, что все подчистите к этому времени, а оно, значит, не выходит?

— Не выходит, Григорий Иванович. После обильных дождей не один овощ лезет, а повилика и осот. На обгон.

— Раньше-то, наверно, брали на костюм, на велосипед, а теперь, как говорится, на тачку и дачку. Может, напрасно послабление сделали, Василий Васильевич, с этими машинами и дачами? Разладица получилась. Теперь машины через заводы навязывают, а в деревне механизаторам, дояркам, свинаркам, даже и тем, кто на свекле. Вот как выходит, Василий Васильевич.

— А вы, Григорий Иванович, как и раньше, стучитесь в тайны теперешней суеты?

— Стучусь. Пертурбации кончились. Время спокойное, к мыслям располагает. Незаметно, чтобы частные машины собирались отгонять в казенный гараж, вот и думаю... А вы все красотой любуетесь? Тучки, краны...

— Можно сказать, новый город, Григорий Иванович. И составы бегут без остановки. Вон там, по краю.

— Это верно.

— Запчастей со временем навезут уйму.

— А вы все такой же, Василий Васильевич... Могут и навезти.

— Как навезли дизелей.

— Ну, что об этом вспоминать... Теперь там уж и место чистое, распахали деревеньку. Старый председатель еще живой, трактора сторожит... А если запчастей, Василий Васильевич, навезут, то я ведь не пропаду. Были бы руки. В домино бить до ночи не пойду и за бутылкой не побегу.

В уличном грохоте выпала неожиданная пауза, с балкона стал слышен лиственный шорох тополя. Василий Васильевич днем держал дверь на балкон открытой.

Григорий Иванович заострил думку.

— Не все, значит, в дальний путь готовы?

— Не все, — согласился Василий Васильевич. — Думали, что расти придется просто, как гриб, путем простого деления. А расти-то приходится, усложняясь. Да еще и своего много. Хоть маленькое, да свое: автомобильчик, например, и кое-что помельче. А если ничего своего не останется, то, глядишь, и переменится что-то в душе, Григорий Иванович? Может, общее и окончательное станет как свое?

— Дай-то бог, Василий Васильевич. Я уже один раз это слышал, не из газет, а из души.

— Любопытно, не могли бы вспомнить?

— Приехали в сельсовет два начальника, один в матросском, другой в пиджаке. Порешили свои дела и подались вечерком искупаться на пруд, а мы, ребятня, поблизости в игры свои играли. Ну и подкрались поглядеть на таких людей. От ремней скрип, а сзади кобура. А я и совсем вылез из кустиков. Дали мне гостинец, половину баранки городской. Разговор у них шел о том, что будет на земле лет через сорок — пятьдесят. «Мы-то не доживем, а вот он... как тебя зовут? а вот Гришутка доживет».

— Хорошие были ребята, — сказал Василий Васильевич.

— Хорошие, — сказал Замылин. — Так что, если запчастей навезут, я не пропаду. Были бы руки.

— И голова.

— А вы все прежний, Василий Васильевич.

Внизу, у подошвы пенала, — неумолчный гул. Он не стихает до глубокой ночи. Рокот двигателей, гудение самосвалов, визг тормозов, завывание разогнанных троллейбусов, звонки подъемных кранов на стройке доно-

сятся наверх слитно, как один непрерывный звук, как неостановимый грохот жизни. Небо в дымах, будто в разгар артиллерийской подготовки. По горизонту вдоль темной стены леса через каждые двадцать минут пробегают составы. Они катятся бесшумно и легко, но я-то знаю, какие они грузные, как сотрясается под ними земля.

Григорий Иванович и Тоболин следят за тем, как неостановимо бегут они.

— Допустим, понавезут всего, допустим, всех вы подберете, — сказал Григорий Иванович. — Дай-то бог. А что же с теми, кто ничего дурного не делает, а не нагнется, если добро гниет, брошено? А с ними как?

— Добро и сейчас не валяется, за ним больше под замки лезут. Но это к слову, Григорий Иванович. А насчет интересу, так ведь это дело наживное, сегодня у кого-то нету, а завтра будет. Да такой, знаете, интерес порою, что каждую былинку на весы тащит, чтобы заработанную копейку с нее получить. Ваш бы глаз к таким заботам, глядишь, да присоветовали дельное, изъян-то и убавлялся бы. Хвалил вас Гончаренко. Лучшего мастера, говорит, не сыскать.

— А вы и на заводе интересовались?

— Случайно вышел разговор. Услышал знакомую фамилию, как не полюбопытствовать. Вы бы, Григорий Иванович, тоже не удержались. Такое давнее знакомство.

— Староват я теперь для завода, Василий Васильевич. Где уж мне углядеть былинки и соринки.

Он встал, надел на седовласую голову шляпу из соломки. Тоболин тоже поднялся.

— Спасибо вам, что зашли, Григорий Иванович. С умным человеком поговорить отрадно.

Замылин остановил на нем свой усмешливый покойный взгляд, еще раз окинул его древний стол, уголок в тени, просиженное креслице и улыбнулся.

— Крепкого вам здоровья, Василий Васильевич.

Они подали друг другу руки. Тоболин, стоя, следил за ним до самой двери.

— Заждались? — сказал Тоболин, рассеянно поглядывая на меня. — Да уж я подменю Лидию Васильевну. Мне так и так надо посидеть. Приму, если будут люди. И в журнал запишу. Идите по своим молодым делам. Что уж вам наши стариковские споры слушать,—

сказал он. — Да, кстати, Геннадий Петрович, где же у них эти машины стоят?

— В гараже.

— Что же это за гараж такой просторный?

— А им сосед уступил свой. Рядом. Они перегородки убрали.

— Значит, уступил... Да вы идите, Лидия Васильевна, не беспокойтесь. А на сколько же комнат они подписались в кооперативе, Лидия Васильевна? Ага, на четыре. Это правильно.

Тут в комнату вошла молодая женщина с ребенком лет пяти. Уходить Лиде было уже неудобно.

Мальчишка оказался разболтанным, не мог ни минуты посидеть спокойно. Когда Василий Васильевич строго взглянул на него, малец выпучил глаза и показал ему язык.

Женщина жаловалась на свекровь и на мужа, которые, пока она с сыном уезжала в деревню к матери, сменили в двери замки и не пускают ее в квартиру.

— Мы бы с ним жили, а старуха поедом ест. Идите, кричит, на частную. Кто вас сюда звал?... А кто нас троих возьмет на частную, да и чем платить? Пятый год на очереди стоим. Дома только крики и скандалы. Видите, какой он стал? Что от нас слышит, то и говорит. Куда же мне теперь с ним?

— А что же в райисполкоме говорят?

— Средств, мол, недостает сразу на всех. Ждите. А как тут ждать?

Светлова обещала помочь ей вселиться обратно свекрови.

— А сколько я там проживу? Они же меня не мытьем, так катаньем...

— Ну вы уж не падайте духом, — сказал Василий Васильевич. — Мужа вашего позовем, потолкуем тут... А на кооператив-то не наскребете?

— Откуда же им быть? Только недавно работать пошла. А то все на одну мужеву получку.

— А вот иные сразу на четыре комнаты подписываются. Перед вами старичок... Невестку на четыре комнаты подписал. Значит, есть деньги. Как вы думаете?

Она ударила сына, стянувшего бумагу со стола, по руке, сунула листок обратно.

— Кому какие свекры попадаются. А от моих лучше с третьего этажа вниз головой.

Обращать мысленный взор туда, куда указывал ей Тоболин, она не пожелала.

Уходила она, крепко держа за руку мальца, который нацеливался выбежать к лифту первым.

Когда мы спустились вниз, Лида сказала, что Замылин растревожил дедушку.

— Значит, ты с ними работаешь?

Я сказал, что с его сыном.

— А как же он строит, если он здесь, а стройка там?

— А он там и пребывает, — сказал я.

— А-а, так, выходит, та самая, ну которая с болонкой, — здесь, а муж там?

Вот она куда клонит.

— Да, она здесь, а он там.

И Лида, и Татьяна, и Славка, — все хотели принять долевое участие в моей судьбе, а мне хотелось самому стать действующим лицом, как эти старики, у которых слова слиты с делом. И мысли долговременные.

Держась за руки, мы медленно шли мимо кленов, каштанов, лип, мимо потока бегущей живой и неживой материи. Солнце сдвинулось на самую небесную окраину, но все еще дорабатывало смену. Зрелые знали, из-за чего схлестнулись. Для них эта материя упорядочена. Каждый из них знает, с каким он знаком.

В вышине пребывали тучки, краны, птицы, которые так полюбились Василию Васильевичу и в которых не было корысти.

«Любопытно, где будет ночевать эта женщина с пацаном? Наверно, кто-то приютил на день-два».

— Ты сегодня неразговорчив.

У Лиды на губах ехидца.

— Обдумываю, как поскорее воздвигнуть семейный дот.

— А что такое дот?

— Долговременная огневая точка. Я очень любил читать о войне.

Вчера Славка. приезжал, вдохновленный удачами и опаленный июльским солнцем до половины лба. Я бы напомнил: выпуклого лба. Татьяна не всегда одна.

— Он часто приезжает к ней, — сказал я.

— Любовь к труду подведет его.

В городе купол неба стоит на крышах, а в древности стоял, кажется, на трех слонах. На крышах — как я понимаю — устойчивей.

На балконе, под самым небом, парусила простыня. Славка вырвался из дублеров на хозяйственный простор. В прошлый раз он заливисто рассказывал о своих успехах. Все удается ему с одного замеса. И с прорабом, и со всеми нужными людьми забил дружбу.

— Ты юноша неустойчивый, — сказала Лида.

Ее высокий чистый лоб хмурила какая-то думушка.

— Ты давно ее знаешь?

— Мы вместе учились в школе, кормились одной кашкой-малашкой.

— А кто у нее родители?

Вот об этом я не знаю.

— Она в них не нуждалась, она сразу родилась взрослой. Я только проходил строевую подготовку, она уже была замужем.

— О чем ты думаешь?

— Разбираю свои умственные постройки и готовлюсь собрать из них новые.

Да, мне надо выгрести из камышей на чистую воду.

Легковые выезды катили, обгоняя друг друга. «Может, напрасно, Василий Васильевич, послабление сделали с этими машинами?» Не побаивается ли Григорий Иванович тишины?

— А обо мне ты не думаешь?

— О тех, кто рядом, не думается. Их ведь можно обнять.

Я кладу ей руку на талию, она недоверчиво смотрит на меня. И так идем. Ей бы надо помнить, что она при должности, но она забыла. «Если их нельзя сделать полезными, им надо помешать быть злыми». Она прочла много скучных книг. У нее выдержка.

— Как поживает Анатолий Анатольевич?

— Диссертация готова к защите.

— А волосы у него над ушами не подросли?

Она останавливается и смотрит на меня. Рука моя соскальзывает вниз и уже не обнимает ее.

— Пусть не подрезает лишнего, — посоветовал я.

— Все камчатские — хулиганы. Я знаю из допросов.

— Твоя служба расширяет кругозор.

Я положил руку на мягкую округлость ее плеча, и мы продолжали путь.

В тот вечер нам повезло. Мы недолго оставались одни. А то бы рассорились. У «Пролетария» возле касс нам повстречались Полозов Павлик со своей девчонкой.

Она готовится в агрономы, получает колхозную стипендию. В колхоз поедут вместе. Глядишь, годика через три, а то и раньше, если помогут родители, у них будет своя машина. Сто километров до города — это час езды. Павлик собирается научить сельских ремонтников секретам оздоровления новейших машин. Если, конечно, не затоскует по городской утесненности.

«А может, эта женщина с мальчонком поехали автобусом на ночь в деревню? Может быть, даже в ту самую, где строит Славка мучные склады? Все было бы хорошо в мире, если бы не свекрови. Ни эта женщина, ни Славка никогда в глаза друг друга не увидят. И мальчишку ее, который, похоже, добалуется до колонии, Славка тоже не увидит. Ему некогда. Он работает по собственным расценкам. Наряды нарядами, а то, что было обговорено, — отдай. Им Славка нужен. Он, если обещал, то сделает. Цемент на жилой дом завезли, а он его с растворного узла на свой БХМ перетаскал. Если он сказал, то сделает. Такому и доплатить можно: двадцать процентов за скорость, двадцать за сноровку, а двадцать просто за то, что молодец... А свекровь сейчас, наверно, запирает свой новый замок на защелку».

— У твоего бати есть расценки по мелкому монтажу?

— У него там от этой требухи книжной повернуться негде, не помню только, свежие ли. Они часто меняются.

После сеанса — опять о неудачном семейном союзе — я сказал Лиде, что мне надо заглянуть к отцу Павлика. Она думала, что я хочу от нее ускользнуть в тот дом, где болонка. Я пригласил Лиду с собой.

Пришли.

Павлик, его девчонка и Лида слушали записи какого-то заграничного одессита, а я уединился с Игорем Николаевичем, которого застал за словарем. Он одолевал ненаши инструкции.

— Станочек прислали, на валюту куплен, а у него сбои. Пока тяжбу с ними затеешь, план сгорит.

Отложил словарик, не захлопнув.

Кабинетик у него длинный и узкий, отгорожен книжными полками до самого окна от другой половины комнаты. На той стороне Павлик с чертежами и дипломом. Я доложил ему обстановку.

— Металл в скатках, толщина ноль три, как же вы его раскатывали?

— Лебедкой и тросом.

— А трубы для опор вы взяли газопроводные? Вы же будете их полгода от изоляции очищать.

— А мы их через огонек пропустили. Смола обгорела как милая.

Интересуется, как возносили баки. Краном за ушки. И ушки для дела остались, красить баки снаружи. Можно навесить малярные люлечки.

Достал Единые нормы и расценки, нарезал закладок, начал листать главы и разделы, оставляя между страницами бумажные полоски.

Набросал коэффициенты надбавок за сверхурочные, выходные, праздничные, за улучшение проекта. Сказал, что если в датчиках есть новизна, можно показать, где надо, насчет авторства. А все-таки при грубой прикидке, как я понял, вряд ли по нарядам собьется та же сумма, что по договору.

— Там ревизия? — спросил он, пряча калькулятор, на котором прикидывал.

— Никакой ревизии нет.

— Боишься, что недоплатят?

— На всякий случай надо знать, что к чему.

Ольга Федоровна оставляла нас ужинать, но я торопился, не терпелось обсчитать работу заново, чтобы узнать, много ли я потеряю.

Я надеялся, что не так много.

— Ты чем-то расстроен, — заметила по дороге Лида.

«Чтобы жить как люди, надо много-много волноваться», — сказала бы на моем месте Татьяна.

А я промолчал.

Лида тщательно обследовала меня взглядом.

— Тебе жалко эту женщину с ребенком?

— Если бы не свекрови, в мире была бы тишина, — сказал я.

19

В гараже оставался я один. Григорий Иванович ненадолго отлучился. Врываются двое гавриков. За ними в дверях третий.

Подступают ко мне.

У меня в руках труба.

— Ты Славка?.. Ты сколько дал нам за шины?

— Это не он, — говорит третий. — Не мелите языком.

— Ладно. А где он?

— Откуда я знаю. Он мне не брат и не сват. Охмурил, что ли?

— А ты догадливый.

— Надо же было считать, — сказал я.

— Заглохни.

— Я, ребята, могу обидеться.

Отвожу чуть-чуть назад и в сторону дрын, который держу в руке.

— Вываливайтесь.

Им развернуться негде. Проходик узкий. Каждого можно изувечить поодиночке.

— Ты что, шпана?

— А вы не по душе мне. За вас ничего не будет.

Сделал шаг навстречу.

Они отхлынули за порог.

— Что ему передать?

— Передай, что всю жизнь на таблетки работать будет.

Выходит, вчера, пока я с Лидией выяснял отношения, скучал на фильме, составлял вечером первые наряды, они забросили ему шины. Значит, уехал он только раненько утром. А где же товар? Я обследовал весь гараж, заглянул даже в подполье — нет. Такие объемные предметы на полочку не спрячешь. Нет ли у них в тихом месте другого сарайчика? Не «уступил» ли им кто-нибудь? Может, и Григорий Иванович туда отправился. Прибрать по-хозяйски, укрыть, запереть могутные замочки. Может, и дверь железом окована.

Славка, пожалуй, обсчитался второпях. Да, он склеит все заново.

У меня же все расклеилось: и с тем же Славкой, и с Лидой, и с Татьяной, и с самим собою. Больше всего с самим собою.

Пришел Антошка, за ним вкатилась болонка. Я достал из верстака подсохший кусок семипалатинской, отрезал два листика, присел на корточки. Увидит ли она колбасу? Глаз-то нет. Увидела еще как!

Антошка прошелся по гаражу, поднял огрызок мягкого карандаша. Антошка знает, что если наскоблить грифель и потереть им резьбу свечей, то они будут плотно сидеть в гнездах, и зажигание станет каким надо. Подобрал с пола медные шайбочки. Если их прокалить, они заново послужат. Положил на верстак.

Я взял Антошку на руки и высоко поднял.

— Москву не видно?

Он уже знает, что Москва в той стороне, где Дачный, туда уходит московский скорый.

Хитрющий мальчишка. И похож на Татьяну. Мог бы быть моим сыном. Сколько же ему? Прикидываю: два года в армии, три учусь в институте и бегаю с чемоданчиком — выходит, ему пятый. Прижимаю его к себе и качаю, как малыша.

Болонка задирает вверх косматую голову и повизгивает. Потом хрипло рычит. Она уже в годах.

— На, бери, бери Антошку.

Опускаю мальчика на пол, а ей отрезаю еще одну колясочку семипалатинской. Аккуратненько берет стертыми зубками. Зубы еще есть. Да, Антошка мог быть моим сыном.

— Можно я к тебе приду домой?

— Приходи.

Он любит смотреть на себя в видеозаписи (дома я собрал видеокамеру), только голос не узнает. Выкатывается из гаража вместе с болонкой. Я стою на пороге и смотрю им вслед, потом возвращаюсь к верстаку, но работа не идет. Зачем я здесь?

Роскошный «кадиллак» тускло поблескивает агатовым боком. Шины у «кадиллака» новые. Когда их навезут? Батя гонит товарняки с ними в другие края. Дизелей, доныне памятных старичкам, навезли, теперь должны навезти шин. С девятого этажа виден новый город. Облака, птицы, краны. Василий Васильевич знает, когда все это навезут. Старики думают не только о своих маленьких делах, но и обо всем ходе жизни.

Наконец я заставляю себя еще раз проверить все суставчики и контакты, чтобы на месте не искать обрыва, не паять, не расходоваться. Чтобы Славка не ухмылялся.

В открытую дверь доносится гул с окружной. Неживая материя движется безостановочно, не ищет своих истоков.

Вернулся Григорий Иванович.

Снял полотняный картузик. Лицо влажное, рубаха выше лопаток темная от пота. Вытер выпуклый лоб платком.

— Меня никто не спрашивал?

— Никто, Григорий Иванович.

— Значит, порядочек.
— Полный, как в аптеке.

За один раз всю дозировочную аппаратуру не увезешь, одних труб для подачи раствора — воз и маленькая тележка, а там еще главное — щит с кнопками и реле, вся тонкая начинка, а там провод и коробка, — не миновать двух рейсов. Попросил отца поговорить с Николаем Ивановичем, не отвезет ли то, что потяжелее. А то, что понежней, сам отвезу потом на Славкином «Жигуленке». Он стоит на приколе в гараже, Славка его теперь в райцентре не оставляет, настрадался: кто-то угнал в соседнее село и бросил у клуба, хорошо, что вышел весь бензин, а то бы и подальше могли укатить, клубов в районе много.

Таился я, таился от Николая Ивановича, а теперь пришлось открыться. Иначе как попросить машину, чтобы отвезти в райцентр свои железки? Придется объяснять, что я связался со Славкой.

Отец как пошел к нему, так и сгинул. Вернулся в двенадцатом под хмельком. Мы уж легли.

— Поедешь в субботу. Навесит над крышей багажник — и грузись. Куда хочешь отвезет, лишь бы, говорит, не осрамился наш Генка со своими реле.

Осрамиться? Не должен. Как будто все выверил.

В субботу мы встали, едва солнце выползло из-за каменных цепей. Окружная слева почти не грохотала. По выходным колесный ручеек на ней жидкий, казенные гаражи на задвижках, остальным машинам по асфальту бежать вольнее.

Николай Иванович сам пришел ко мне.

— Ты одевайся как надо. Как-никак инженер. Брюки со стрелками, рубашку новую, обувь не последнюю— как в театр, а в цехе оденешься в спецодежду, возьми с собой.

Я сказал, что переоденусь после погрузки.

Мы шли в гараж гулкими, почти пустынными улицами. В субботу поселковые позволяют себе понежиться в постелях. Они оставили за плечами целую неделю. О субботе думали еще утром в пятницу, ее предвкушали. Теперь ею наслаждаются.

Я взял с собою сумочу на петельке.

Там наряды.

Настал час мой вещий. Отдам или не отдам, еще не

решил, но взять с собою возьму. Пусть они проедут со мною эту искусительную дорогу, пусть привыкнут к ней. За карбованцы, от которых подумываю отказаться, можно купить мотороллер. Пожалуй, и не отдам. Родителям не говорил. Зачем преждевременный переполох? Мать скажет бате: по твоей стежечке пошел. Два сапога — пара. Голенький тот, кто гол умом. А может, и еще кое-что прибавит. Батя хозяйства не ведет, голову до боли не ломает. Ему хоть трава не расти.

Днем солнце освещает крыши, утром — стены. Днем жжет голову, утром ласково заглядывает в глаза.

Гараж у Николая Ивановича далеко, нужно двигать низами в старый город, можно было бы и поехать, но приедешь в центр, а оттуда в низы опять пешком, только потеряешь время.

— По холодку почему не пройтись, — говорит он.

Рад пройти заветными дорогами. Шагает, а перед ним восстанавливается вымершая жизнь. Здесь была трамвайная линия, здесь остановка, где висели часы. Тоже вымершие. Под ними назначали свидания.

Я тоже знаю, что жизнь прежде была, но как бы в безвоздушном пространстве, без подробностей. Он читает каменные записи города, я думаю о нарядах. Чтобы напрасно не выплескиваться, я сказал себе, что в сумочке пока самодеятельность, ничего определенного и что времечко покажет.

— Они били вон с того балкона, там стоял пулемет. Видишь, весь афишный грибок в царапинах? Хоть бы оштукатурили.

— Его, наверно, снесут, — сказал я. — Ему сто лет.

— Весь перекресток, все четыре улицы под обстрелом. До грибка добежал, а дальше куда?

Мне хочется зайти в квартиру и взглянуть на то место, где лежал т о т. Какой-то малый слушает ритмы. Николаю Ивановичу тогда было шестнадцать. Стоя за грибком, сильно повзрослел.

— Приемщица подала заявление, — говорит Николай Иванович.

— Мне уже сказали ребята, — говорю.

На том берегу — белобашенный город. Он в дымке висит над водою. Николай Иванович долго смотрит на него...

А на балконе грохочет поп-музыка. Рассыпается ба-

рабанная дробь, лязгают тарелки, сбивает наповал отрывистый ритм, слышен страдальческий голос певца.

Мы сворачиваем в узенький, мощенный булыжником проулочек.

Я бы на месте Николая Ивановича похлопотал бы местечко для гаража поближе. Может быть, здоровье бережет? Пока материал добудешь, пока наймешь какого-нибудь Славку, век и сократится. А может, и привык к неудобству? Человек ко всему привыкает.

Магнитофон смолк. И лоб Николая Ивановича разгладился. Никогда бедняга не думал, что его редкая в давние годы профессия станет такой обыденной и что машинное слово завладеет пространством...

Зачем оставлять такой гараж? Просторный, сухой, надежный. И с погребком. И картошку можно ссыпать, и кадку с капустой в уголок поставить. Да еще водная даль перед глазами.

Николай Иванович картофель не припасает, капусту не заквашивает. Все покупает. Ушли те времена. Его дело — кнопочная музыка.

Багажник на крышу мы поставили махом, мягко и надежно затянули зацепы, обратный путь на Камчатку был столь лаконичным, что не запомнился.

На хозяина мастерской Николай Иванович смотрел изучающе, так что Замылин почувствовал себя неловко, правда, на самый короткий, пустячный миг, легко справился с непрошеной стесненностью и стал помогать мне развинчивать членистоногие трубы, укладывать их на брезент.

Мы укутали трубы и прочно перевязали, так, чтобы ни одна не выпала, не звякнула по дороге, взгромоздили сверток наверх рядом с коробом и клубками проводов, уложенных в мешки, надежно утянули груз веревками . Можно было бы взять с собою и всю тонкую механику, но ее пришлось бы оставить на целую неделю без присмотра в чужом доме, где могут быть и юные техники, и просто безалаберные жители районного центра. Нет уж, лучше до следующих выходных, чтобы всю механику сразу с колес и на стену, на крюки.

Григорий Иванович не стал ждать, пока мы выедем со двора, обиделся на себя за то, что занимался неквалифицированным трудом, и ушел в гараж.

Я сбегал домой и переоделся.

— Ну вот, теперь ты не какой-нибудь, — сказал

Николай Иванович, разглядывая мой светлый разутюженный костюм; галстук даже до райцентра не разрешил снимать. — Ты привыкни к нему.

Мы отбывали под присмотром Антошки и болонки, видевшей только нижнюю часть колес и не знавшей, что вся причина поездки лежит выше горизонта ее обзора, на высоком багажнике.

— Вы по дороге не джигитуйте, права отберут, — предупредил Антошка. Поучения деда он помнит назубок.

Не могла она не выйти. Я даже забеспокоился — не захворала ли?

— Геночка, привет! — воскликнула она издали своим праздничным голосом, появляясь из подъезда. Тон у Танюшки приподнятый от природы. На каждом уроке ее могли одернуть, она глубоко раскаивалась и тут же начинала новую оживленную беседу. Без увлеченности ей нельзя. И как ей не быть приподнятой, когда сознание своей привлекательности волнует, как марочное вино.

«Уезжаешь? Я бы охотно поехала с тобой. Ты ведь не можешь на меня долго обижаться. Где откопал ты этого симпатичного старичка? Вы смотритесь вдвоем».

Я напомнил себе, что она должна быть мною забыта.

Она была в легоньком воздушном платьице. Глаза иссиня-синие.

— Ты сегодня такой нарядный и официальный, прямо ужас.

Антошка недоверчиво смотрит на нее.

«Она должна быть мною забыта», — говорю я себе, но эти слова кажутся мне бессильными. Я поспешно захлопнул дверцу, чтобы не видеть ее глаз.

— До свидания, — сказал я.

Она мило пошевелила пальчиками, и мы выехали из тесного двора.

Пришлось завернуть на бензоколонку и заправить бак. Только с полным баком возможно равномерное и прямолинейное движение.

Наконец мы выехали из города в степь. Небо, видное в городе из колодцев улиц и дворов кусками, в степи слилось воедино и рванулось вверх на недосягаемую высоту.

Мы разрезали хлебную зыбь, она километр за километром входила в наши будничные души.

Не доехали мы и до первой деревни, как Николай

Иванович стал зорко что-то высматривать то справа, то слева, искал какие-то приметы. Никаких примет не было, одна хлебная необозримость. И все-таки он съехал на обочину и заглушил мотор. Слева лежал поросший муравой узкий ложок. Наверное, он и был вехой.

Николай Иванович вызволился на простор, поднялся на взгорок. Долго стоял, окидывая взглядом пшеницу. Я не знал грамоту земли, а он, видно, понимал ее.

— Давай посидим на травке.

Вернулись в ложок, опустились на разостланный халат.

Николай Иванович поехал со мною не только затем, чтобы подбросить в райцентр мои железки, но и затем, чтобы взглянуть на эти места.

Ему было неполных шестнадцать, когда немцы подступили к городу. Двухэтажный барак дрожал как в лихорадке от стрельбы зениток и близких бомбовых разрывов. Ночи были светлые сначала от прожекторных лучей, рыскавших по небу, потом от пожарищ. В щели, которую он вместе с матерью откопал невдалеке от барака и накрыл обломками поваленных телеграфных столбов и привалил землей, гасла от взрывов коптилка. Бомбы, падая с высоты, завывали, звук их нарастал над самой головой от малого свиста до пронзительного, леденящего душу рева, замыкая на себе весь белый свет. Качнется почва, запоют снаружи осколки, не успеет мать затеплить погасшую коптилку, как новый визг.

В одну из ночей, когда горели небо и земля, они с матерью собрали в два узла пожитки и ушли из города в этот ложок. Откопали новую щель. Здесь уже были такие же, как и они, горемыки. Ждали, что немцев отобьют.

А высматривал он сейчас клин, где когда-то косил. В ложок нагрянул старшина и спросил, могут ли они убрать это поле. Женщины и мальчишки взялись. Плата — ведро зерна на день. Но поле под обстрелом. Здесь в двух местах стояли наши батареи.

Ночью вырыли окопчики и начали чуть ли не ощупью косить. Женщины вязали и стаскивали снопы в ложок. Здесь молотили цепами и палками. Днем косили до первого снаряда, потом прятались по щелям. Нажимали, когда у немцев обед. Потом снова на час прятались, — начинался обстрел. А потом уже не таились: до самых потемок немцы не стреляли. Здесь похоронил

своего дружка. Сам отделался легкой глухотой, которая скоро прошла.

Как ушел в часть? От ярости. Сначала как бы не человек был. Один постыдный страх, горько вспоминать. Прятался-прятался, как последний прохвост, и вдруг злоба появилась. Да что это я? До каких пор? Да ведь это хуже смерти.

И пошел в часть. Мать в слезы: «Вы его оставьте в хозвзводе». Но он уже кипел изнутри, пошел в разведку. Потом послали учиться на радиста.

А мать уехала на восток с хлебом.

Радовался, что теперь колхозники хлеб не пекут. Сказать бы об этом в послевоенные годы, никто бы не поверил такому. Как же это в деревне не печь хлеб? Не верилось, что его будет вдоволь. Полуживыми лежали города, поля и села. Как тут поверишь? Мечтали когда-то: вот если бы по килограмму на едока выпахать хлеба, вот тогда бы наступила благодать. А сейчас хлеб бесплатно. Шестнадцать копеек — разве это цена? И даже сами печь перестали.

До самого райцентра нас провожало новое, беспечальное поколение хлебов.

Место, где Славка с бригадой начал стройку, нельзя было узнать. Над новенькой ровной кладкой высились, точно ракеты, башни, покрашенные сверкающей алюминиевой краской.

Местные, проходя мимо, останавливались, поглядывая то на серебристые цилиндры, то на кучку полуголых залетных умельцев, обедавших в тени на разостланном брезенте. Подошли и мы с Николаем Ивановичем. Нас оглядели с удивлением и ухмылкой, как прибывших на пикник.

Мы разостлали халат рядом, и, кивнув Славке и сподвижникам, стали выкладывать из холодильной сумочки на элементах продукты.

Николай Иванович вытащил из кармана складной нож с вилкой и ложкой, с гравировкой на костяном боку на немецком. Я себе вилочку захватил из дома.

Из окошка пекарни на нас глядели женщины в белых халатах. Одна, молоденькая, худенькая, вышла и молча положила перед нами половину кирпичика горячего пахучего хлеба. С любопытством поглядывая на нас, пожелала нам приятного аппетита. Уж не начальство ли мы?

Славка не лез с расспросами. Прораб, который к нам скоро заглянул, посматривал на Николая Ивановича с опаской, словно тот пожаловал с проверкой. Уж очень у Николая Ивановича был внушительный вид.

После завтрака Николай Иванович тщательно вытер платком складной нож, зажав его между ладонями, и спрятал в карман брюк.

Переоделся я в доме у почты, где останавливался. Дверь была на замке, но ключ я нашел в условном месте в заглохшем палисаднике. Хозяевам не до цветов: поле, дом, скотина.

Вернулся к машине и стал торопливо разгружать поклажу. Жаль потерянных дорожных часов.

— Ты не горячись. Напутаешь что-нибудь, — сказал Николай Иванович. — Лучше прихватить часок-другой вечером, по холодку.

Когда Николай Иванович уехал, подошел сварщик. Вообще-то он не сварщик, а завлабораторией. Но у Славки — сварщик. По своей первой специальности.

— Это кто?

— Сосед.

— Где он работает?

— В телеателье.

Сварщик успокоился. У Славки люди не какие-нибудь. Честью дорожат. Мало ли кто приезжает.

Сварщик этот один раз страшно перепугал Славку. Прислонил к верстаку лист металла, с невероятным трудом раскатанный и отрихтованный кувалдой и молотком, и стал обрезать его без разметки.

Славка подбежал и гаркнул не своим голосом:

— Ты что делаешь?

Тот посмотрел на него, как на больного, погасил пламя.

— Режу.

— А размеры?

Тот назвал.

Славка схватил складной метр.

— Клади ровнее, — говорит сварщик, насмешливо поглядывая на бригадира. Сбежались все.

Тютелька в тютельку.

— У меня же пятый разряд и статьи по сварке.

«А пошел в умельцы?» — спросил я его потом. «С женою разошелся, на кооператив надо заработать. Хотя бы на первый взнос...»

Днем духота пошла на убыль. Внизу на склоне высокого неба сначала косматились редкие тучки, потом они сгустились в огромный темный полог, он не доставал своим нижним краем до горизонта. Их разделяла белая полоса. Туча нависла над полями.

Хлеба были на подходе, а серебристые цилиндры без аппаратуры.

Я занялся трубами и проводами.

20

Утром зашел Николай Иванович и сказал, что, в санатории разладились сразу два цветных телевизора в холлах второго корпуса, и попросил ненадолго оторваться от курсового и сбегать туда, чтобы не было жалоб.

Я и сам был рад вернуться в заоконный мир, где с вечера происходили перемены. Зима обессилела. О карниз окна стучали капли, большак потемнел. Из окна я вижу только спину, вижу только задние стекла бегущих машин и стоп-сигналы. Мне захотелось взглянуть большаку в лицо.

Отложил тетради и чертежи, побрился и ощутил под рукой удивительно гладкие щеки. Способен ли я делать работу скоро и ловко?

Натянул куртку, захватил чемоданчик и вышел на площадку. По лестнице заставил себя быстро сбежать, чтобы почувствовать, что ноги еще служат мне.

День выглядел не таким уж низеньким и тусклым, каким представлялся мне из моей боковушки. Солнце не было видно, но оно не погибло, оно откуда-то из своей неволи насыщало облака светом.

Снег, там, где он не был затоптан: под деревьями, на газонах, в середине двора, по сторонам косой дорожки, — потемнел, лежал рваными лоскутами, тропинки сделались ухабистыми и ребристыми.

Кот, сидевший на решетке подвального окна, юркнул вниз, напуганный моим решительным шагом.

Я лег на самый короткий курс, мимо гастронома, к станции через полотно дороги, туда, где елово-темно тянулся лес, пряча белые облицованные корпуса.

Никто из прохожих не подозревал, как долго я находился в одиночестве, как долго не был на воздухе.

Знакомая ворона трудилась у магазина. Видя, что я

приближаюсь, согнула ноги, присев, но не взлетела, надеясь, что я пойду, как все, в сторону дверей и что ей не придется взлетать. Ей, старой, не радость утруждать свои кости. Может быть, ей уже двести лет. Люди, сосредоточенные на своих делах, не были ей опасны. В моих движениях ей пришлись не по душе резкость, а во взгляде пристальность, и она, хоть и давно знала меня, тяжело взлетела с мокрого снега на бесснежную крышу гастронома. Нечего искать приключений.

Ива у магазина, которая в морозы звенела сухими листьями, теперь стояла сырая, обмякшая.

По дороге к санаторию мне изредка встречались незнакомые, которых я помнил в лицо.

Помощь моя телевизорам не понадобилась, их настроил какой-то любитель. Я позвонил Николаю Ивановичу в мастерскую о том, чтобы в журнале сделал отметку, и спустился вниз. Спешить было некуда.

Внизу у входа я смахнул с почтового ящика последние следы снеговой шапчонки и медленно, с видом незанятого человека пошел к станции, выбирая места посуше и поровнее.

Снег по сторонам дороги лежал выше асфальта. Изредка он с влажным звуком оседал.

Из лесу наискось к асфальту бежал санный зимник. Как же я его не заметил, когда шел сюда? Под ним таилась летняя тропинка, ведущая к дубу. Он огромный, раскидистый. Летом мы сидели под ним с Лидой.

На ней было чуть ли не бальное платье с большущим вырезом на спине. Плечи и руки кофейные, а спина белая. Я видел, что прохожие в поселке смотрели на ее спину.

Я свернул на зимник. В углублении от копыт блестела вода, а наст был твердым и не проваливался.

Постоял под дубом. Он был теперь печальный и раскрытый. Углубился в ожидании лучших времен.

Можно дойти и до той полянки. Она была зеленой, когда мы с Лидой улаживали наши сердечные дела.

После встречи с Татьяной на одной дорожке Лида определенно стала догадываться, кто я. Она ждала, горячо ждала, что я поспешу развеять ее опасения, мои слова стали бы для нее лекарством, она горячо желала излечиться и не рвать со мной, но я молчал, зная, что не смогу натурально лукавить, молчал, как виноватый, и она все поняла.

— Ты обо мне этой киске ничего не рассказывал?

Разве не обидно сознавать, что я с Татьяной обсуждал ее, Лидии, достоинства?

Сорока разбила летние мысли.

У нее скандальный голос. Я знаю, что поляна эта со штабельком дров моя, а начинаю думать, что полянка принадлежит сороке. В сущности, видная птица. Даже красивая. Но всегда у дороги, всегда ищет предлог завязать ссору. Сорока улетела, мысли остались.

Да, Лида с негодованием ждала ответа.

— А зачем я должен докладывать ей о тебе? Разве предательство между женщинами ценится? Ведь я не подозреваю тебя в том, что ты уведомляешь Анатолия Анатольевича о том, сколько раз я тебя обнял и хорошо ли это делаю? У него, наверно, есть и свой опыт.

Оказывается, и та степень боли и гнева, в какой Лида находилась, не была крайней, потому что после моего ответа она не могла и слов отыскать, чтобы выразить все свое презрение ко мне.

Я совсем потерял совесть и затронул то, что могла обсуждать сама с собою только она. Я смел подозревать ее в том, что она подает надежды не только мне, но и Анатолию Анатольевичу, тогда как она сама не знала, подает ли она аспиранту надежды или нет.

Я помню эту паузу. Вот так же крестьянствовал дятел, может быть, тот самый, у них ведь постоянные лесные наделы. А мы с Лидой шли рядом, как чужие. Мы уже и до той минуты усвоили новый для себя тон, каким говорят друг с другом давно знакомые, но уже не близкие. Но такой тон она уже не могла выдержать, у нее прорвалось накипевшее, и она с жаром начала перелистывать историю нашей болезни. Я кротко ее слушал, пока она не истощилась. Ее слова рассеялись по этой поляне и где-то живут. Не в листьях ли под снегом?

Зимний стук дятла громче, озабоченней. Все птицы в лесу либо сборщики, либо охотники, один дятел вечный работяга. На меня не смотрит, трудится без перерыва. Много ли под корою пищи? Может быть, всего на раз клюнуть. До меня ли ему?

В ложбинке, видной с поляны, снег тоже крупитчатый. Там можно провалиться. Я сдвинул с пенька мокрую папаху и сел. Летом здесь не было дров и не было этих пней.

Мы тогда на поляне оставались недолго, пошли по лесу уже без тропинки. Я видел ее лопатки и голую спину, и мне почему-то сделалось жалко ее и стыдно за свое непостоянство. Почему бы не утешить ее, почему бы не сказать, что ее упреки напрасны? Ведь потом, когда все наладится, можно и повиниться.

И не такая уж смешная у нее спина, и даже совсем не смешная, а напротив. Если бы я не был таким криводушным, ей, пожалуй, и не потребовалось бы надевать в лес это платье.

Осина — самое беспокойное дерево, а когда они вместе, они тревожатся хором, от них лучше уйти подальше. Нет ничего печальней. Мы ушли в глубину, туда, где лиственное плескание было сдержанным, ненавязчивым.

Я прилег, она сидела поодаль, раскинув вокруг себя парашютиком платье и прикрывая им подобранные к подбородку колени. И вдруг мы услышали явственный скрип, туда — тонко, оттуда — тенорком. В лесу была дверь. Мы встали. Я пошел посмотреть, Лида, со мной, Мы нашли ее. Дерево упало на дерево и при сильном порыве ветра жаловалось всем, кто мог его слышать. Лида стояла на полшага впереди и не поворачивалась ко мне. Все смотрела и смотрела. И вдруг я увидел, что ее лопатки легонько вздрагивают. Я подошел и обнял ее. Так мы стояли, слушая дверь, куда нам не было входа.

Я готов был признаться Лиде во всем, но ее всхлипывающие слова опередили меня. Она что-то говорила сквозь слезы, она казнилась от невозможности узнать секрет, который постоянно делает ее несчастной. Она скрывает от всех свое горе, старается выглядеть энергичной и веселой, а сердце — черное.

Я прижимал к своей груди ее мокрое лицо, потом стал промокать влагу платочком и целовать, целовать осушенные места. Она затихла, вся напряглась от ожидания чего-то нового и вдруг обняла меня за шею. Я осторожно спустил с одного плеча ее платье, но почувствовал, что в моем движении нет решительности, мне мешала скрипевшая дверь, туда — тонко, оттуда — тенорком. Я сдвинул платье и с другого плеча и стал расстегивать сзади лифчик, но как-то уж очень неторопливо, словно за мною кто-то подглядывал. Она уже не плакала. Она потом раскается в своем унижении, она

не простит мне его. Принудительная любовь не может быть радостной.

Дверь все скрипела, сначала приоткрывалась, потом закрывалась. В нее нужно было войти навсегда, без возврата. Если бы не этот скрип...

Я медленно застегнул лифчик, все еще не отрывая ладонь от ее голой горячей спины, потом осторожно вернул платье на округлые плечи. Фигура у нее нехрупкая, но стройная. Она с презрением и стыдом взглянула на меня.

В кустах всплеснула крыльями какая-то птица.

Мы неторопливо двинулись в сторону полянки, где я теперь стоял. Лида порою смотрела на меня то незнакомо, то с чувством ожидания каких-то моих слов.

— Наконец эту дверь закрыли, — сказала она, когда едва слышный скрип за нашими спинами совсем затих. Мы вернулись в поселок.

...Под дровами тонко пискнула мышь. Не сыро ли ей там?

По следам лошади и саней я выбрался на асфальт. Ботинки уже хлюпали. В поселке я постоял у дома, глядя на кран. Нить с красным якорем раскачивалась на ветру. Одиноко торчала в небе стрела.

Скоро я был дома. Отец брился, готовясь на смену, и весело напевал неизменный мотив. Мать никак не может привыкнуть к новому лучистому выражению, которое появилось у отца после официального признания его союза с буксой.

— Да оставь ты эту отвратительную Федору! — кричит она ему из кухни. Он смолкает. Но я-то знаю, что он напевает песенку беззвучно, одними губами.

Ходит теперь он на смену в новой форменной шинели, на которой нет ни пылинки.

21

За окном стояли голые до самых плеч, с золотистой кожей сосны и принимали полезные утренние ванны, в них много инфракрасных лучей; их вид был всегда матери по душе, но сегодня ее не радует. Мною мать тоже недовольна.

Я ведь еду в райцентр не один, с Татьяной.

В прошлый раз я покинул райцентр в шесть, с первым рейсовым автобусом, грязный, усталый и почти не

спавший; то, что я рассчитывал сделать за два часа, затянулось на двое суток. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. А все-таки то, что я намечал, я свинтил, часть проводки натянул и даже зачистил концы, чтобы соединить их с датчиками, как только привезу щит. Женщины два раза угощали меня горячим хлебом, чтобы не упал. Пусть знают, как работают калымщики.

Утром чистую одежду я вез назад в бумажном пакете, перевязанном шпагатом крест-накрест. Славка ухмылялся, обнажая расселину в зубах. Наверно, рассказал всем в бригаде об этом пакете.

Он хоть и усмехался, но, провожая, хлопнул меня по плечу. Он и сам такой же, сам готов работать до упаду.

Наряды с сумочкой вернулись со мною в город. Не было времени затеять разговор. Он выбил бы меня из колеи. Какая была бы работа после ссоры? Я глядел в автобусе на эту сумочку, которая мерно покачивалась у меня на петельке, и говорил себе, что я не переменил замысла. А все-таки оттяжка с бумагами как будто радовала меня. Я все еще оставался хозяином полного неурезанного заработка, стоившего мне и отпуска, и выходных, и всего лета. Что, если бы сумочка потерялась? Стал бы я составлять наряды заново?

— Почему ты не отвез медяшки в прошлый раз? Они поместились бы, — сказала мать, сердито поворачиваясь ко мне от окна и следя за тем, как я одеваюсь в дорогу, на этот раз попроще, как в отъезд одеваются все наши умельцы.

— Боялся оставлять их без присмотра. Ты же знаешь,. как долго я их слаживал.

Она изнемогает от невысказанных слов о Татьяне, я знаю каждое из них, знаю, каким тоном были бы они брошены, они уже готовы слететь с ее губ.

Но слова остаются неозвученными. Мать не находит себе места.

Я все-таки еду с Татьяной.

В прошлый раз в райцентре, одобрительно хлопнув меня по плечу, Славка произнес для красного словца:

— Ты на машину больше не траться, вон возьми в гараже мою.

Ребята подумали: рубаха-парень.

А доверенность дать мне позабыл.

Я не стал выводить его на чистую воду, он спохватился бы: ах, запамятовал, технический паспорт не со мною.

Дома я без всякой задней мысли рассказал Татьяне о широком Славкином жесте. Она сделала вид, что не уловила моего шутейного тона.

— Он совсем забыл, Гена. Совсем. Я могу тебя отвезти.

Смотрю на нее, улыбаясь, а у нее выражение: «Он же сказал взять машину? Мы и взяли».

Я смутился, отвел взгляд.

— Он забыл, Гена. За-был. У нас свидетели. Он разрешил взять.

Я боялся верить тому, что она сказала. До утра могла передумать.

А Татьяна не передумала. Стояла поодаль от машины, уже одетая в дорогу: в тесных джинсах и свободно выпущенной кофте с поддувом. И была хорошо видна матери в окно.

Их болонка, семеня лапками, еле видными из-под белой, до самой земли шубенки, подбежала для разговора к собаке в черной вывернутой овчине, с толстыми лохматыми ногами.

— Весь двор засобачили, выйти некуда, — сказала мать.

Я попросил собрать мне в дорогу съестное. Она резко набила мне болоньевую сумочку.

И все-таки я еду с Татьяной.

Медяшки, упакованные отдельными свертками и сам щит уже спокойно поместились в багажнике.

Нас провожали Антошка и многодумный Григорий Иванович. Если бы не дед, Антошка забрался бы ко мне на руки. А тут взглянул на деда — и не двинулся с места. Я кивнул ему: скоро приеду.

Мы сразу начали равномерное и прямолинейное движение, сэкономив полчаса. Бак был полон, заезжать на заправку не пришлось. Мы следовали тем же путем, что и с Николаем Ивановичем. Тогда я больше следил за наружным миром, сейчас смотрел то на ее тонкое запястье, то на беспокойный локон, то на движение пушистых ресниц.

— Не смотри на меня, я на кого-нибудь наеду. Видишь, какая скорость.

У нее на лице нет постоянного выражения, вся пре-

лесть в их частой смене. Сейчас ее черты незнакомо сосредоточены, она другая, она почти неподвижна, живут только руки и ресницы, да трепещет локон под ветром, бьющим в окно. Она хочет обогнать солнце, которое катится слева за окном. Его низкого света еще хватало на то, чтобы окрасить в печальные тона весь небесный зонтик и все, что внизу под ним.

— Зачем ты согласился ехать со мной?

«Чтобы обогнать солнце и прижать его к груди», — хотелось мне ответить.

— Для компании, — произнес я.

При взгляде на нее всякий мог сказать себе: я понимаю эти глаза до конца, до самой ясной веселой глубины их. Мне всегда было обидно видеть эти сторонние мужские взгляды, они присваивали принадлежащее мне с мальчишества право понимать и ценить Татьяну.

— Ты же знаешь, все это глупость.

Отяжелевшие полнозерные хлеба смыкались перед нами вдали, закрывая дорогу, но стремительно отшагивали за кювет, как только мы приближались.

— Ты отважная, — сказал я.

— А еще какая?

Мы стали спускаться в седловину, солнце сидело на самом верху подъема и ждало нас. Потом неторопливо убралось с пути, поглядывая на нас уже сбоку.

— Если я скажу тебе все сразу, что же я буду говорить потом?

Все было, как в самодеятельной пьесе. Я только не знал, что будет в последнем акте. Но мне было все равно.

— Ты хорошо заработаешь?

— Не так уж.

Она жалела меня и в полной мере оценивала свое каждодневное праздничное существование. Мне теперь и это было все равно.

Наступила пауза, вовсе не означавшая, что разговор наш оборвался. Мы продолжали безмолвно изливать себя друг другу, продолжали рассказывать друг другу о том, как жили в тоске.

Машина рвалась вперед, рассекая полевой простор. Мы не думали о том, что едем в райцентр. Скорость нам была нужна, чтобы, сидя рядом, понимать друг друга.

Отлетело иго осторожных мыслей. Мы только не

знали, у кого первого полнота выплеснется наружу, и почему-то каждый стыдился стать первым.

— Ты мешаешь мне видеть дорогу, отвернись.

И все-таки она хотела видеть мой восхищенный взгляд. Он волновал ее. Я чувствовал ее трепет, мой взор тянулся, прикасался к ней, и она передавала свою радость машине, вкладывала ее в ловкие движения рук, лежавших на баранке, в скупое движение ног, плотно охваченных джинсами, в сдержанный выбор поз, нужных для слитности с машиной, которая с отчаянным шуршанием и напряженной дрожью мчалась вперед сквозь скромное разнообразие полей.

Они были полностью открыты глазу, ничем не заслонены, ни домов, ни беспокойного людского множества.

Не было в помине и унылой гладкости: чередовались впадины, подъемы, спуски, лесные полосы, колеистые полевые дороги, цепочки столбов-пешеходов. Ни одинакового цвета, ни одинакового оттенка. И никакого второго смысла, одна ясность, ясность того, что все мои обязательства забыть Татьяну были вынужденными, неискренними.

Я снова взглянул на нее. А разве у нее не то же на душе?

Казалось, что мы едем долго, столько разных мыслей пронеслось, впрочем, до конца не додуманных, тотчас переходивших в другие. В действительности город все еще был виден в заднее стекло.

Мы обогнали ехавшее из города семейство: крупный малый за рулем мотоцикла, жена позади и плотно всаженная в коляску старуха в каске с белым ремешком под подбородком, у нее на коленях девочка, чем-то напоминавшая большую куклу, наверно, густыми и совершенно льняными кудряшками. Я улыбнулся девочке, она тотчас показала на меня старухе, но та неохотно пошевелила губами и продолжала смотреть перед собой, может быть, думая об оставленном без присмотра хозяйстве.

Скоро все три каски остались позади.

Асфальт бежал под колеса, почти не отбавляясь. Только теперь мы приближались к тому ложку, где в щели под накатом некогда обитал Николай Иванович.

— Этот ложок изгибается под прямым углом, он проезжий, — сказал я.

Она, не повернув ко мне головы, продолжала гнать

машину, точно не слышала моих слов. Я видел: мы уже минуем его, и тут скорость стала угасать, колеса на миг замерли, и наш домик стал резво пятиться, сполз под углом на обочину, задним ходом вкатился сначала в ближайший лучик яра, а потом, обогнув излом, въехал в дальний, не видный с дороги, и здесь тихо замер.

Не поворачиваясь ко мне, она смотрела перед собою. В кабину через пустоту обоих окошек стал вливаться поднебесный звук, который раздавался и до того, как затих двигатель, но не был нам слышен. На такой высоте жаворонку светлее, там солнце выглядит еще белым. Все поют с дерева, этот с недоступной высоты.

Не двигаясь, мы слушали его.

Голос разъединился на две тайные доли и входил в меня и в нее.

Я повернул ее лицо к себе и посмотрел ей в глаза. Она прижалась к моей руке щекою.

— Зачем ты тянешься ко мне? Ведь я не такая, как ты думаешь, — сказала она.

Это, наверно, из пьесы, где каждое словечко — правда, она и впрямь не такая, как я думаю. Она восхитительней.

Я сдвинулся к двери, осторожно привлек ее с водительского места к себе и спрятал в объятиях.

Скоро губы ее беззвучно задвигались, но я понял. Нужно откинуть сиденья.

Когда мы вернулись в покойную полевую неохватность и вышли полежать на траве, голос в вышине продолжал звучать, как будто не замолкал ни на миг. Певец боялся упустить последний, предзакатный час, ему придется молчать всю ночь, таясь внизу в непроницаемых густых стеблях.

Его настойчиво звали перепела. Эти не отрывались от земли.

По шоссе мчались запоздалые моторы, нам их не было видно, но мы слышали их. Солнце уже зависло над колосьями и освещало самый краешек неба. Солнце уходило.

Я сидел на склоне и держал ее на руках, свернувшуюся калачиком, все еще боясь, что наше единение так скоро кончится.

— Я его боюсь, — сказал она, дождавшись, когда на минуту смолкнут птицы, как будто ей нужна была полная тишина.

— Он догадывается?

— Нет, совсем другое.

Она села рядом со мной на откосе и с глубоким сомнением взглянула на меня: можно ли мне открыться?

«Я самый верный, самый привязчивый человек, мне все можно сказать без боязни», — уверил Татьяну мой ответный взгляд.

И тут она кое-что мне поведала.

Славка решил добыть дубленку, такую же, какую увидел на одном клиенте. Карбованцы были давно прикоплены и спрятаны от Татьяны и деда, которому Славка обыкновенно отдает заработок на сохранность. На книжку деньги оба не кладут. Только и разговоров было об этой дубленке: и теплая, и смотрится, и, что скрывать, престижная. Идет мужик — все поглядывают с косинкой. Зависть. И есть чему позавидовать. Прямо-таки свихнулся на ней. Наконец нашел клиента из торговых, у него «Волга» побывала в аварии. Сделал ему классно, тот машину свою не узнал. С самого начала условились, что помимо платы клиент достанет фирменную овчину.

Сколько раз, глядя на людей, прикидывал, как сам будет выглядеть в такой шубе, как пройдет в ней спешенным по центру, с каким видом и с какими мыслями.

Наконец можно было идти в магазин. Вот она, сладостная минута! Нежный, ровно подстриженный мех ласкает руку, сожмешь полу — она упруго, без единой складочки течет из ладони и распрямляется. Надел и не узнаёт себя — откуда солидность появилась. Кажется, все опасения позади, теперь шуба рядом.

Их было три. Выбирал долго, не зная, какой шубе отдать предпочтение. У каждой была своя изюминка. Наконец выбрал.

Пошел платить, подсчитывают, а в свертке и половины нет. Оглядывается вокруг: может, потерял? Нет. Идет мимо завотделом, от стыда сгорает.

— Вы что, не будете брать? Так зачем же голову морочили? Ходют тут...

А продавщица:

— Посмотрите, все ли там на месте.

Сел на улице на лавочку, скрипит зубами. Понял, что взяла о н а.

Поймал ее той же ночью, когда она стала в шкафу шарить. Зажег свет и смотрит на нее. «Ты их туда

клала?» — «А ты их где взял? У меня ведь списочек, кому ты шины ставил. Незадорого достались».

Думала, что он тут же с нею что-нибудь сделает. Никогда его таким не видела. Ей бы надо помолчать, а она все и выложила, дескать, ей приходится брать тайком свое кровное, пусть сам дает если не половину, то хотя бы треть, иначе жизнь неинтересная.

Почти на месяц воцарилось молчание. Разное оно бывает. Перед ссорой — грозовое, когда все готово яростно взорваться криками, когда в груди кипит и глаза сверкают; молчание бывает после ссоры, когда все выплеснуто и сожаление в душе о горячности, но нет уже возврата, а это было другое молчание, — смертельное, искавшее только малый миг, чтобы рассчитаться, и готовое ради этого на коварное выжидание, от которого минутой сладко на душе, потому что в нем зерна будущего торжества, мести бездумной, не ведающей о том, что будет после.

Семейный эпизод она передала с улыбкой, контуры его набросала пунктиром, с пропусками, минуя все заусенцы. Теперь я, пожалуй, слишком густо провожу все линии. Тогда же, в тихом ложку, я сочувствовал им обоим. Ссора случилась, как я догадался, незадолго до того, как мы сошлись с Татьяной на берегу озерца. Потом были и примирения, и новые стычки. Зыбкое равновесие устойчиво. В конце концов, дубленку он купил себе попроще. Я слушал Татьяну с выражением незлого любопытства и терпения. Безмолвным запальщиком ссор она считала Григория Ивановича.

— Ты думаешь, легко заниматься гадостями? Но ведь заставляют.

Я обнял ее, чтобы согреть, было уже прохладно. Машины стали редки и шли с фарами. Тянул свежий ветерок. В глубокой немотности полей слышался какой-то незнакомый, едва уловимый, но определенный звук. Он доносился отовсюду. Я догадался, шуршали друг о друга тяжелые колосья.

Скоро включили свет, и подняв оба стекла, мы выехали на дорогу. Луна выкруглилась, но смотрела еще робко, будто легкое облачко.

Почти до самого райцентра текли малозначительные, необильные слова. Совсем я боялся молчать, чтобы Татьяна не вообразила, что после ее рассказа я переменился к ней.

— А недавно ты взяла у него и еще немного? — осмелился спросить я.

— Он сам сказал? Вот этого я и боюсь. Он ведь пока не знает.

Она даже не повернулась ко мне, отыскивая глазами поворот.

Но Славка уже наутро узнал об этом. Упали ка снег на голову те трое, я увидел их издали, когда снаружи башни ставил пуск для всасывания муки из муковоза. Они отозвали его в сторону, но голоса их были слышны, пожалуй, и в цехе. Отдашь деньги — будешь постоянно здоровенький.

— Это жена. Пачку заново я не пересчитывал, — сказал он. — Не уезжайте, деньги я добуду. И на магарыч накину.

— А это кто? — спросил один из них, кивая на меня.

В гараже он показался мне крупнее. С ним можно было обойтись и без твердого предмета. Его друзья против Славки тоже не потянули бы врукопашную. Дерганые и заморенные, наверно, пьющие.

— Сосед мой. Радиомастер.

Не так-то просто было взять в конторе аванс, да еще, как видно, объемный. Пока прораб умолял главбуха, Славка истоптался в коридоре, ожидая результата. Немного придется теперь ему на руки.

Она тронула основной капитал. У нее список обутых Славкой машин. Чудаки.

Эта суббота была памятна не только для Славки, но и для меня. Когда-то мать сказала отцу, что на одного ребенка у нее воспитательных усилий хватит. В ту субботу я ощутил ее правоту. Утром в райцентр приехала Л. В. Светлова, которой мать дала мои координаты и поторопила ее с отъездом. Я проводил Лиду к хозяйке, пообещав заглянуть в перерыв. А в перерыв, как будто стояла за углом и ждала, когда я появлюсь, в горницу вошла и Татьяна с нарочито шаловливой улыбкой на лице. Но это еще не все. Славке шепнули, что его супруга пошла ко мне на перерыв. Славка бросил незавернутым шуруп и побежал по адресу.

— Ты забыл в багажнике документы, — сказала Татьяна, видя входящего мужа и подавая мне крутобокую от нарядов сумочку.

Я забыл ее не в багажнике, она завалилась вниз, когда откидывали кресла. Я потом о ней не вспомнил.

Славка обвел глазами жену, меня, Лиду, смотревшую на него холодным взглядом, и, не сказав ни слова, ушел. Татьяна последовала за ним, сделав нам жест поднятыми пальчиками.

Мы сели с Лидой по разные стороны стола. Она посмотрела мне в лицо насмешливо. Я не отвел взгляда, неожиданно осознав в себе какую-то несуетливую вдумчивость.

— И супруг тем же обеспокоен? — спросила она, не поддаваясь моему серьезному выражению.

— И супруг, — сказал я.

Хозяйка все искала по двору, в огороде, в низах у ручья самую кладкую курицу, хотя она была на виду, в палисаднике, в уютном углублении под кустиком.

— Я освобожусь поздно, — сказал я, не чувствуя в своем голосе ни вражды, ни обиды. Я смотрел и на себя, и на нее со стороны, словно от двери.

— Я подожду, я взяла в гостинице место — От ресниц под глазами у нее двигались тени.

Выбранный глиняный карьер с облагороженными берегами стал большущим озером. Его обсадили ивами, ольхой. Умельцы лежали после купания на траве, устремив глаза в запредельное и позабыв на миг о серой прозе. Лида тоже пришла сюда. Она была спокойной. Татьяна уехала. Я встал и пошел с Лидой побродить.

Лицо ее осветилось ярким, но холодным светом.

Зачем она явилась? Вырвать меня из хищных когтей? Уличить меня в непостоянстве? А может быть, и за тем, и за другим? А я уже думал, что после свидания в лесу она вычеркнула меня из памяти. Не надеется ли она, что я опомнюсь? Сколько бы я ни перебирал варианты, я не мог остановиться на каком-нибудь одном.

Вспомнив, как уничтожающе она взглянула в избе на Татьяну, я вдруг подумал: а не опаляет ли ее ревность? Не решила ли она безусловно подчинить меня себе, предварительно избавив от ряда второстепенных недостатков? А потом-то она покажет мне свое главенство.

Сколько вопросов и ни одного ответа. Только факт — она приехала.

Я и сам постоянно думал, чтобы ей подчиниться, но у меня ничего не выходило.

Утомив, как это пишут в книжках, свою обоюдную тревогу прогулкой и неспешным дружеским разговором, мы опустились на заросший травою холмик. Она грустно смотрела на меня. Я взял ее за руку. А что, если она считает меня близким себе? Там, в лесу, пусть между нами ничего и не было, но для нее все равно что было: она-то решилась!

Солнце, прежде чем уйти на покой, тоже сидело на земле.

Лида не говорила мне всех тех слов, которые я по справедливости заслуживал. Уместны ли резкие слова в такие печальные минуты?

Милая Лида, если бы ты знала: я должен дождаться!

Чего? Я и сам не знал. Но куда мне деть надежду?

Мы сидели и жалели друг друга: она меня, погибающего, а я ее, страдающую без вины.

В ее волосах запуталась какая-то букашка. Осторожно высвободил и отпустил.

— Спина у тебя уже загорелая, — сказал я.

— Да, — сказала она, — уже загорелая... Ты, наверно, думаешь: зачем она приехала?..

Я продолжал держать ее за руку.

— У тебя на среднем пальце уже мозоль.

— Много пишу. Раньше обижалась на Василия Васильевича, а теперь сама поминутно обращаюсь к нему... Я сразу бы ушла в гостиницу, да они подумают, что между нами что-то случилось. — Она кивнула в сторону ребят, отдыхавших на противоположном берегу.

Сварщик добыл в клубе гитару и настраивал ее.

— Подойдем? — сказала она.

Мы подошли. Присели на голый сухой ствол, стоявший, будто на лапках, на сучках-рогатульках. Славка посмотрел на наше с Лидой единение и стал обдумывать его под игривые куплеты. Голос у сварщика был хрипловатый, но приятный. За время подряда мы все между собой сошлись.

Теперь у людей свободного времени уйма: и для отдыха, и для мыслей, и, чтобы руки занять, остается. Славка направил эти часы на дело.

Когда сварщик излил душу, взял гитару и я.

Те, кто собирался уходить, остались. Мне хотелось понравиться им. И я спел из жалостных романсов тот, что у меня хорошо получался.

А Лиде — особенно — о заблудившемся малыше, которому до чрезвычайности полюбился чужой город.

А этот город был такой
Лазурно-сине-голубой,
Что захватил меня, как праздник бесконечный,
Я где-то бубен уронил,
Свою дорогу позабыл
И горожанином стал тихим и беспечным.

Над нашими головами был изначальный кров, а вокруг сельская тишина. Можно было бы и посидеть. Но мы вставали с солнышком. Пришлось уходить, чтобы выспаться.

Все были уверены, что Лида приехала, вняв моим мольбам.

Поверил ли Славка?

22

Наконец-то батя не смог увильнуть в сторону. Мать заставила его заселить альбом карточками, которые до сего времени мялись в пакетах; как бы невзначай, то за тем, то за другим она заглядывала в комнату, дабы работу он не отложил, и недовольно хмурилась, видя, как долго он сортирует снимки, зачитываясь книгой прошлого и делаясь все грустнее и грустнее.

Первый лист он отдал нашему семейству: слева деревенский паренек с напряженным лицом, в новом костюме и рубахе с галстуком, скорее всего, первым в своей жизни, справа — знающая себе цену девушка, чем-то напоминающая мать и одновременно Лидию; внизу малыш с круглыми глазенками, в ползунках, но уже сидящий на какой-то плоскости без поддержки.

Новая страница отводилась моим дедушкам и бабушкам в таком же пропорциональном представительстве. Напротив бравого солдата, снятого в полный рост, с орденами и медалями на груди, — интеллигентный мужчина в шляпе и габардиновом плаще реглан по тогдашней моде; в новом ряду девушка с гладкой, на пробор, прической, а напротив горожанка, очень похожая выражением на мать.

Матери понравилось такое сопоставление, и она предложила повести его до конца. Полистав почти готовый альбом, я вернулся в свой закуток за чертежи.

Я знаю, как растет дом.

Даже не видя, по одним только отрывочным звукам, доносящимся через дорогу в открытую форточку, я знаю и о том, в какую сторону движется кран, какую деталь зацепил, на какую стену возносит, в каком конце искрится сварка, знаю, что уже начат новый этаж, по неритмичному стуку догадываюсь, что выколачивают из корыта остатки застывшего раствора, по гулу плитовоза понимаю, что в ворота въезжает новая порция перекрытий.

Ветер сдувает со стрелы крана снежное облачко.

Приятно «растекаться» в поисках прошлого, болтать, никому не мешая, с самим собой, не опасаясь, что тебя одернут или строго на тебя взглянут, принудительно подвигая к деловитости.

В самый разгар монтажа, в очередную пятницу, я, по обыкновению, собрался в райцентр с ночевкой, а тут звонят из санатория: погас цветной телевизор. Бегу сломя голову, как бы не пожаловались Николаю Ивановичу. Скоренько сделал.

Санаторный завхоз восхитился моей сноровкой, не зная, что перегорел всего-навсего предохранитель.

Завхоз решил меня облагодетельствовать, предложил стопочку «Сибирской» и позвонил на кухню, чтобы принесли закуски: как больным носят в палату.

— Нет, — говорю, — один не пью. Да и товарищ вон в коридоре ждет, давно не виделись.

В коридоре около конопатенькой женушки я встретил по пути в люкс Сережку Соболева, он пришел помочь ей протереть в коридоре плафоны, до которых ей ни с какой стремянки не достать. Попросил его задержаться, если не спешит.

— Зови его сюда, и ему нальем. Будешь не один.

— Да нет, — говорю, — мы привыкли на свои.

— Благодетелей не любите?

— Больше, — говорю, — в складчину.

— Ну тогда и меня берите в долю. За футболистов наших поболеем. Опять продуют, жилка слаба...

Прикинули мы: могут выйти в четверть финала.

Зазываю Сережку.

И так мы славно «поболели» до начала передачи и после нее, что «Сибирской» как не было: наши-то выиграли!

А потом болтали о всяком.

Сережка нет-нет да и отпустит колкость. Шутки у Сергея вострые. Большой стаж.

— Серега, — спрашиваю, — а за что ты в школе на мне обтачивал язык?

— Не все же выкладывают что на душе. Больше про себя держат. А ты — как чокнутый, нараспашку.

— А страшно было, — говорю, — ту крышку надвигать?

Завхоз тоже заинтересовался, пришлось пояснить ему вкратце.

— Каким ты был, — говорит Сергей. — Ну зачем тебе это нужно?

Не то чтобы я обиделся, нет, а просто понял, что Сергей парень недушевный. Он заметил, что я поскучнел.

— Хочешь знать?.. Я сначала к проходной кинулся от огня, а напарник за мною. Тоже сдрейфил. А потом я остановился и вдруг побежал назад. А он тоже за мной. Вот оно как было...

Славка на время отложил свои размышления о том, почему мы с Татьяной поздновато приехали с железками. Она что-то объяснила насчет поломки.

Он отдался производственным заботам. Срок подпирал, а дел оставалось много. А тут еще с перевозкой тормоз. Заводской шофер изводил его. До звонка еще целый час, а шофер уже начинает поглядывать на часы, начинает копаться в моторе и, в конце концов, дотянет до пяти, а там переоденется и домой.

Славка позвал прораба и накричал при нем на шофера с добавлением не вполне печатных выражений.

— Вам платят, вы и поезжайте, а я к вам не нанимался. Дельцы! Землю копают, кирпич кладут, раствор заливают, как будто без них бы не сделали. Специалисты! Зачем вам кирпич-то класть? У нас и свои каменщики на простое. Поглядите вон в СМУ. Да оттого, что вы аккордно берете, кирпичик у вас золотой и каждая выкопанная ямка тоже. Вам-то дают заработать. За длинным рублем приехали!

— Вы его уберите, — сказал Славка. — Сами будем ездить.

— Ты, Ваня, иди в гараж, — сказал прораб.

— Свидетели не нужны? Тянете все без фондов, за подмазку. Думаешь, не видим?

— Чудак, свой же завод. Хлеб-то всем нужен.

— А ты уж молчал бы. Тоже мне прораб. Они тут набьют карманы — и привет семье. Ханыги. Железо с базы в потемках вывозили. А днем бы им физиономию начистили. У них там план поважней, а железо—тю-тю!..

— Ну ты, Ваня, иди, иди. У нас все по смете, по проекту. Все через бухгалтерию. Не кипятись.

— Хлеб, значит, всем нужен! Свой, значит, завод. Хлеб-то они задарма берут, а с нас по какой цене сдирают? Шпана базарная! И ты с ними!..

Вечерний автобус я пропустил: ездил сначала за раствором, потом за асфальтом.

Гадко было проезжать мимо брошенного жилого дома. Лежал сложенный в штабеля белый кирпич, а не было цемента. Славка позаимствовал.

Почему-то вспомнилась та издерганная женщина с ребенком, которая приходила к Лиде на девятый. Все ждет жилье. У Славки дождешься. А я у Славки на подхвате. У меня три специальности: по реле, по баранке и по электричеству. Умелец.

Когда смыли с себя вечером грязь, посидели на бережку пруда, на сухих выворотнях. Все полуживые. Разговор вялый. И настрой не вчерашний. Все слышали, как «выступал» шофер.

— Сволочной мужик, — сказал Славка.

Вдали, над задумчивыми хлебами, догорал закат. Становилось прохладно...

Из дома я снова захватил с собою сумочку, набитую нарядами. За два дня, сказал себе, обмозгую, сдавать их прорабу или нет, урезать свой заработок или нет.

Тяну провода, а сам все о нарядах вспоминаю.

Славка не подозревал, какими злокачественными бумагами была набита сумочка, протянутая мне Танюшкой в прошлую субботу.

То, что хотел бы обронить, не теряется. Тебя догонят и любезно подадут оброненное.

Минули новые выходные, пора из райцентра домой, а наряды все на гвоздике в сумке. Собираюсь к автобусу, а сумочка все поглядывает на меня.

Когда-то думал, что дни мои текут сумбурно до поры до времени, а как только наступит серьезная минута, я стану иной. Вот она, серьезная минута, вот она, упитанная сумочка, что же ты от нее отворачиваешься? Ты упадешь с того мотороллера, если купишь его.

Постоял у окна, поглядел в запущенный палисадник. А может, и не упаду? Сережка бежал к бакам, потому что там был огонь. А тут никакого огня. Никто не погибнет и не сгорит. Одна польза: бабы перестанут таскать чувалы с мукой.

Отошел от окна. А ведь врешь, думаю. Будь ты на его месте, ты и там бы лазейку нашел.

У хозяйки — часы с боем. Когда ударит восемь, я возьму сумочку и пойду к прорабу. Как только прозвучал последний удар и отзвуки его затихли, наполнив избу, я шагнул к ней, повесил петельку на кисть и пошел искать прораба.

Нашел его возле серебристых ракет, он в одиночестве стыдливо любовался ими.

Подал ему наряды и сказал, что хотел бы получить расчет по официальным расценкам.

— Он тебя подкузьмил? Нет? Чем же ты недоволен?

— Хочу получить по расценкам.

— У нас договор не с тобою, а с бригадиром. У него хоть совсем не получай.

— И они достанутся ему?

— Бригаде.

— Пусть они лучше достанутся заводу.

— Ты за двести рублей хочешь стать маяком?

— Не за двести, а за триста.

— Вы нам сделали склад по душам, мы вам прибавили.

— Своими?

— До свидания, мне с тобою некогда глаголить.

Он все еще не уходил. За лето он еще более подсох, щеки стали плоскими, глубже обозначились морщины. Теперь-то я понял, что́ в его фигуре еще в гараже у Замылиных показалось мне необычным: брюки пониже спины были ему так просторны, что делали его немного смешным. Они широки для его зада.

Простецкое лицо. Его дочка станет искусной мастерицей. Я не питал к нему зла.

— Ты видел, кто носит мешки? Девчонки. А им еще замуж выходить. Чудак ты, — сказал он.

— А жилой-то домик выше второго этажа так и не долез. Погляди...

— Ты что хочешь сказать?

— Хочу сказать, что не долез.

— Ну ты знаешь... На всех сразу не напасешься.

— Вот я и говорю.

Он пошел в контору, а я к автобусу.

Дома (мы встретились на станции у магазина) Славка спросил:

— Значит, просишь выдела?

— Да.

— А кто выпрашивал у меня этот самый лишок? Я ж тебе сначала по расценкам давал.

— Я выпрашивал.

— Один хочешь быть хорошеньким? Нет уж. Получишь, как все, а там хоть бросай под колеса.

Товарняк долго протягивался сквозь ребра моста.

— Напрасно ты все это затеял. Ты же самостоятельный малый. Силоса-то стоят на четырнадцати ногах, как на двадцати четырех. И дозировка включается-выключается. Она же во всем городе ни у кого не отмеряет. По старинке все делают, у кого черпачковая передача, у кого и вовсе простота, опускают в силоса веревочку с узелками, замеряют, много ли муки осталось. Мы бы с тобою могли...

Загар у него за лето загустел, он стал мужественнее и как-то увереннее во взгляде. Смотрел доброжелательно. Мне стало неловко. Они ведь все вручную: и ямы, и фундаменты, и заливку, и кладку. А баки драть изнутри почти до блеска? Это же каторга.

«Самостоятельный» — у Замылиных наивысшая похвала.

Он предлагает мне союз, он готов подставить плечо под новую тяготу.

Товарняк наконец прошил мост, оставив после себя две блестящие нитки рельсов. Важно убедить. Другого или самого себя. А потом все просто.

— Нет, Славка... Не обижайся. Я ценю и тебя, и ребят. Я не могу.

Мы подали друг другу руки. Мне еще кое-что надо было купить, а бывший бригадир с большущим портфелем в руках пошел домой.

А в следующий мой приезд прораб сам отыскал меня в цехе, подозвал к тестомесильному ящику.

— Это ты поставил здесь автоматику?

— Я.

Неужели, думаю, отказала?

— Так вот мы тебе начислили за нее триста рублей. Не по заводу, а по бригаде. Отдельным нарядом. А с

Вячеславом Григорьевичем под этот наряд дополнительное соглашение оформили. Распишись вот здесь, что работу сдал. А я распишусь, что принял. Мы с тобою квиты, ни ты нам, ни мы тебе. Так что оставь свои наряды при себе. На долгую память.

С документами прораб все уладил. Скандала не будет. Бумаги в норме. И дело сделано, и никто не обижен. В особенности Славка.

Ребята смотрели на меня с усмешкой — в маяки не вытянул.

— Ты думал, что идешь по гнутой дорожке? А мы ее выпрямили, — сказал Славка.

23

Идешь по улице с чемоданчиком — и узнаешь лица домов, смотришь на дерево, у которого была содрана кожа, и видишь, как ссадина теперь зарастает; останавливаешься у дома, недавно покрашенного по-новому, и тебе кажется, что прежний вид был намного лучше; взглянешь, все ли розы распустились на газоне у кинотеатра, и начинаешь сопоставлять оттенки, а то и вовсе приметишь смешное: шагает мужик навеселе и делает сам себе гримасы. И улыбнешься.

Ты зевака с потертым чемоданчиком.

Проводил мужика взглядом, чувствую, кто-то в бок толкает. Оглянулся — Татьяна. Центр в поселке невелик, все ползут сюда.

— У меня тоже платье без спины. — Показывает мне свои шоколадные лопатки. Я коснулся их.

Мы поболтали о том о сем, о новом и о давнем. Ее зависимость от похвалы удивительна. Ей дома уже все высказали, и Славка, и свекор, объяснили, какова она; о чем не сказали, о том догадалась сама. И все-таки все это ей хочется отменить и слушать, и слушать меня о том, какой я знал ее, какой помнил в начальные годы.

— Он допытывался, почему мы с тобой тогда задержались.

— А ты что?

— А я сразу, как только мы с тобой приехали в село, отсоединила кое-что под капотом. Он сам-то целый час искал, не сразу нашел... Поверил.

— А почему же ты ходишь пешком? Не ездишь по вечерам на окружную, не обгоняешь солнышко? Целую неделю не вижу чтобы ты выезжала.

— Солнышко, Гена, ходит без меня. Славка не разрешает мне брать машину, говорит, что неисправная, кое-что, дескать, нужно подтянуть... Требует списочек отдать, тогда, пожалуй, машина сразу станет исправной.

— А ты и отдай, не связывайся.

— Эх, Гена, что ты в этих делах понимаешь... Список я потеряла. Плохо только, что теперь нам не свернуть еще раз в тот укромный ложок. Но в принципе выход есть. Он скоро за рыбкой в одно место поедет, туда пешком не дойдешь. А потом уж она будет на ходу, тогда уж никаких отговорок. А ключик у меня свой.

— На какой день тогда рассчитывать? — спросил я.

— На субботу. А ты свой мотоцикл тоже держи наготове. В пятницу я позвоню в шесть. Жди у телефона. А то ведь твои не позовут.

Да, без колес ей не жизнь. Любит быструю езду: чтобы ветер в ушах, чтобы риск и новизна, чтобы каждая минута была не похожа на прежнюю. Любит погоняться за солнышком на окружной.

«Да, в ложок нужно съездить и все решить, — думал я. — В конце концов можно уехать и в другой город, если мои родители ей не по душе».

— И поговорить надо, — сказал я.

— Ужасно люблю... Мы же с тобой пока ни о чем не говорили. Ужасно люблю, когда ты рассказываешь.

Вечером, едва успел я вернуться домой с работы, как позвонил Тоболин. Он спрашивал, не смог бы я сегодня забежать к нему и посмотреть его «Горизонт».

— Лучше сначала загляните на девятый, чтобы вам одному квартиру мою не искать. А то ведь и час и больше потеряете.

Вот она, стыдуха! А я-то думал, что больше с Лидой не увижусь. А теперь весь эпилог пройдет на глазах у Тоболина.

Через полчаса водитель маршрутки высадил меня напротив пенала.

Вхожу. Потянуло ветерком, зашевелились бумаги. Допросы у них отгремели. Тоболин и Лидия сидели, расслабившись, как после разгрузки вагона.

Он попросил подождать, хотел дописать что-то экстренное. Я с чемоданчиком прошел к окну.

— Вы, Геннадий Петрович, сядьте, а то у меня документ не будет получаться. Буду помнить, что вы стоите.

Я сел. Он склонился над листом. Тщательно обдуманные слова давно выстроены в очередь и терпеливо ждут своего перехода в видимую, ответственную, общественно значимую форму. Он смотрит углубленно и строго.

Обычно он попроще, приучил себя делать вид, что он, как и все, удивлен беспорядочностью людских поступков и дел, а между тем видит в глубинах всей этой неопределенности твердый каркас и ловко пользуется своим тайным знанием, поражая всякого догадливостью, которая, может быть, ничего не стоит ему. В нем как бы невидимый счетчик Гейгера, который уже от порога начинает отсчитывать деления, сортируя входящих по крупным и малым приметам на разряды, важные для его службы, надежно опознает в них дубликаты давно знакомых типов; события он воспринимает не в их разрозненности, а группирует по давно знакомым комплексам, которые им самолично изучены, а деятели хорошо известны, хотя и по фамилии пока незнакомы. Поиск фамилий — чисто техническое дело. Он и себя, наверно, поместил в какую-то ячейку и нимало не унижен тем, что у него отнюдь не исключительное место в таблице людской бесконечности. Он любит такую справедливость. Лишь она способна служить ему компасом и избавлять от половины ошибок. Другая половина ошибок неминуема. И он, как дитя, рад, когда их сваливается на него меньше, чем ожидалось.

Несмотря на свой рационализм, он до крайности суеверен. Лида не прониклась им, никак не может совместить в нем эти взаимоисключающие друг друга начала. Она подозревает, что в его системе есть ячейка и для нее, и возмущена этим. Я же готов примириться с тем, что моя карточка лежит у него в каком-нибудь абстрактном ящике с наклейкой «Неведомы себе».

Он пишет ровно и быстро и любит прислушиваться к звуку слов, к их шуршанию на бумаге. У каждого слова свой голос, даже у вкрадчивой точки.

Я сел у стола Светловой, и мы начали переписываться.

«Больной Миша прислал В. В. письмо. Евдокия за большие деньги купила спираль, и ему вшили».

«Верная женщина».

«Бери пример».

«Спроси у В. В., что он высмотрел тогда в деле. Помнишь, листал».

«Я и так знаю: год рождения больного Миши. Он на десять лет моложе Евдокии. Вот и вся интуиция. Всякому ясно, что она держится за него и не скажет, где он, хоть убей».

Охватив мыслью весь мир, Миша не нашел того, с кем мог бы разделить столь важную минуту, полную надежд, кроме недруга, и написал ему письмо.

«В. В. ответил ему?».

«В тот же день, заказным, и сам отнес на почту. Миша ведь не знает, кому обязан...»

Я взглянул на нее. Она поняла взгляд.

«Я злая?»

Протянул руку за карандашом и неосторожно коснулся ее пальцев, покраснел, как будто мы только познакомились.

«Ты хорошая», — написал я.

У нее губы жалко дрогнули. И вдруг она сделалась сердитой.

«Но есть лучше?»

Я написал:

«Показания давать отказываюсь».

И придержал у себя карандаш.

Скорей бы отгораживали ей отдельную светелку.

Он уже принялся убирать стол. Я встаю, снова подхожу к окну, где у батареи прикорнул мой чемоданчик.

Сегодня между стволами труб, скелетами кранов, шпилями зданий не дымчато, линии четки, будто вычерчены пером на синеве.

Ясность.

— Созвонимся, — сказал я Лиде, стараясь смотреть мимо ее глаз. Сказал не для нее. Для Тоболина.

Она усмешливо кивает.

Несмотря на возраст, Василий Васильевич легок на ногу. У него не столько походка, сколько побежка. Перешел на красный свет, видя, что порция машин еще далеко, и сказал:

— Раньше на людей рычали обитатели лесные, а вот теперь машины. Обидней.

На его месте, возвращаясь домой с такой службы да еще после успехов, которые так любят его, я непременно бы шествовал гордо, восхищался бы втайне своей неизвестностью, тем, что никто из встречных не знает, какое чудо я совершил, какой я скромный и умный, сколько труда и времени положил ради спокойной жиз-

ни вот этой скребущей сандалиями по тротуару старухи, ради вот этой идущей с двумя сумками железнодорожницы, ради вот этого длинноволосого акына с гитарой, ради вот этой обнявшейся парочки, ради вот этого пацана, курящего в кулак.

А Василий Васильевич ходко перемещается, радуясь лишь одному: что служба позади, что выпал перерыв восстановить силы, что больших промахов не было, что завтра, если он будет осмотрителен, можно закончить день, не опозорившись.

— У нас ведь, Геннадий Петрович, все заново, хоть ты и тридцать лет проработал. А идешь каждый день на службу, как на экзамен... Одну минуту, здесь бывает круглый подовый.

Ныряет в дверь магазина и появляется обратно с коврижкой мягкого круглого хлеба, засовывает ее в черную атласную сумочку, горловина удобно захлестывается. У него все ловко.

— Встаешь утром больной, слабый, с чувством отупления от застаревшей душевной и физической усталости, мир не имеет цены, не хочется двинуть ни рукою, ни ногою. А нужно, Геннадий Петрович, нужно делать начатое дело. Сидят люди, надо с ними разбираться. А пришел, начинаешь работать, и работа сама дает тебе силы. Забываешь и то, что тебя отругали, и то, что дело будет просрочено, и то, что сын подзапустил учебу в институте (слава богу, теперь-то он окончил!), и что сам ты плохо спал, и радостно думаешь: высплюсь!

Он чиновник по душам. Мыслима ли такая служба? «А вот представьте, Геннадий Петрович, не отменяют ее».

— Вам больной Миша письмо прислал?

— Представьте, Геннадий Петрович, прислал. Письмо-то пустое, ничего в нем нет, да я ведь и без того знаю, что он хотел сказать. О том, что внутри, разве скажешь? Может, оно первое за всю его жизнь, может, и ничего не писал, кроме открытки к празднику. А тут написал. Вот оно как. Что же это я, все о себе и о себе, а вы-то как, Геннадий Петрович?

Сказал, что чиню хриплую музыку. Чиню ее, она снова ломается.

Обрадовался удивительно.

— Вы сказали хриплую? Да вы, знаете, себе на уме.

Несмотря на то что по дороге мы обсудили много

всякой всячины, дорога показалась мне длинной. Городские теснины тут обрывались без перехода в низкие дома, сразу к асфальту подступала настоящая бурьянная степь с явственным запахом полыни и каких-то никогда не стриженных трав. Их натиск на дворы сдерживали слабосильные саженцы.

Жил он вдвоем со старухой, но та временно отъехала к дочке. Он бы тоже внуков проведал, но служба. Теперь не до отпуска. Была кошка, но убежала. Теперь обитает в подвале с котятами. Иногда мяукает под дверью, перехватит то рыбки, то куриную лапку. Так что ненадолго Василий Васильевич один.

Остались на довольствии только цветы. Один обвил всю стену вместо ковра, а то бы комната выглядела голой. Жильем доволен: сколько воздуха, тишины! И телефон. «Поговоришь с друзьями — и веселее».

Стал заботливо сощипывать со стеблей сухие листья, поливать, заранее отстоянной водой, подсыпать и закапывать в плошки что-то из кулечков. Комната вроде оранжереи. Сколько хожу по домам, не видел такую.

Имущество у него двух поколений: в большой комнате кое-что из нового, в комнате поменьше — старое.

— Был новый гарнитур, дочке уступил, контейнером его куда подальше отправил. Тяжелый, знаете, ужасно. Кажется, из железа, а он из опилок. Остались только два кресла для гостей, новенькие, да вон тот диванчик. Кресла, конечно, хорошие, будто спальные. Сел — и уже не до занятий, тянет в сон. А диванчик, знаете, низенький, как будто на полу сидишь, у кого малый рост, хорошо. И встать с него нужно в два приема, сразу-то не встанешь. Вот вы и улыбаетесь. Может, и правы. Душа для нового тесновата. Ревность.

В коридоре — промазанный моренкой стеллаж с книгами, весьма зачитанными, по всей видимости, из того же прошлого периода.

Нигде ни соринки, ни пылинки. И пол паркетный, как в ленинградском дворце. Сверкает лаком. Скромность достатка замаскирована чистотой и воздухом.

— Конечно, нет нынешних безделиц, но ведь и пыли меньше.

Безмолвие, признаться, потрясающее, не то что у нас в поселке. И в окно — полевой запах.

После того как я подпаял сопротивление и сменил одну лампу, мы сели поужинать.

Он любовно оглядел стол, оценил питательность и простоту блюд. Мне налил, сам пить не стал.

— Возраст такой наступил, Геннадий Петрович, не выпьешь — и рад. — И сразу без перехода: — Сегодня день, знаете, хороший, мало горячился. Трудно отучать себя горячиться, допрос превращается в спор, а когда споришь, одного себя только и слышишь. А себя-то и потом можно послушать.

Я усомнился в том, что он способен горячиться.

— Ну это вы еще не знаете. Вы и слышали всего одну-две беседы, да и то, знаете, так, беседу друзей... Он, кажется, ваш сосед?

Я все ждал, когда он приступит к расспросам о Григории Ивановиче, еще по дороге догадывался, что ради этого и зовет, но вопросов все не было и не было, и я уже решил, что ошибся и что никаких таких целей у хозяина и в мыслях нет, и вот он, первый проблеск.

Я подтвердил, что Замылин — мой сосед, и в свою очередь ненастойчиво полюбопытствовал, о каком дизеле они так тонко вспоминали в дружеской беседе. Другому он, может быть, и не рассказал бы, в давности случилось и быльем поросло, а тут, по особому ко мне расположению, можно сказать, друзья, согласился очертить вкратце.

Как я понял, Василию Васильевичу больше запали в душу тогдашние разговоры с Григорием Ивановичем.

— Вот вы говорите: общее и всякие такие слова, а если приглядеться хорошенько, Василий Васильевич, то ведь общее — ничье, оно ни мое, ни ваше, ни у кого за общее сердце не болит, а если заботятся о нем, то по службе, не от сердца; не кровное оно; не такое вот, как эта рубашка. Если мое, ты знаешь, сколько его, где оно лежит, куда ссыпано, как хранится, знаешь, когда его надо сеять, а когда молоть. А если учитывает чужой дядя, счетовод, не видя в глаза, а так, по нужде только, для заработка, перебрасывает костяшки на счетах, прирастет ли оно к сердцу?

А в городе тем более. Штампуют мелочь, а целой машины в глаза не видели, запечатывают в ящик и везут на край света; не то что сердцем полюбить, а штамповать-то не по себе, тоскливо. Вот и посудите, будут ли это общее охранять, как свое? На бумаге хорошо получается, а на деле интересу нет.

— Не сказал бы, Григорий Иванович. Интерес есть, даже большой. У вас, скажем.

— Это опять с какой стороны поглядеть. Валяется вещь ценою, к примеру, сто целковых, на нее ноль внимания, спотыкаются и проходят мимо, а как только иной на тысячу рублей труда и сообразительности к ней приложил, тут все в голос: хапуга.

Вот вы убеждаете меня в разном, а не от сердца ваши слова, не вами добытые. Общее-то и для вас ничье. Свое-то было бы, разве так бы вы его искали? Не бумажки бы рассылали, а давно бы сами обегали все райцентры. Много ли их в нашей области? Да и я бы тут без воздуху не томился, потому что давно бы все убедились, что ни при чем тут я, что движок этот давно в утиле надо искать, по бесхозяйственности ему одна дорога — туда. Бесполезная ваша специальность, Василий Васильевич, далеко хуже механической, вашу бы дотошность и усердность да к настоящей работе, ей бы цены не было. Вы совсем молодой, а я вот вас Василием Васильевичем называю, не из лести, а понимаю вас: хороший человек, а не при деле. Оттого и промашки частые. Где-то дознались вы, что мои родители не из казанских сирот, и на заметку. А что же вы не спросили, кем родитель мой всю жизнь был? А был он работником на мельнице, и механик, и слесарь, и грузчик — и все один, а когда хозяин умер, хозяйка к себе его из батраков в мужья взяла, а пожить не успели — коллективизация. Так что владетель он был не настоящий, а по недоразумению. Не только с движком, но и тут у вас осечка. Не скрою, подходил я к этому движку и прикидывал, можно ли его в дело произвести, так ведь из любопытства, под открытым небом вещь. Всякий может остановиться, а с завода я его не увозил и никому не продавал. Сдали его в металлолом, а списать забыли. Вот еще месяц, от силы два — отвечать вам за меня придется. К вашим делам слово потом подберут.

Уязвил его Григорий Иванович. На всю жизнь уязвил.

С десяток ближайших районов Тоболин объехал сам, в остальные разослал повторные запросы, суровые, за подписью людей из области. Ответы шли куда быстрее, чем в первый раз, но такие же горькие, как и прежде.

Январским утром он вернулся на попутной полуторке из районного городка. Поиски и здесь были тщетны-

ми. И на душе скверно, и за окном метель. Улицы, дворы, крыши — все было упрятано в белую пелену, город сделался пухлый, неповоротливый, чужой. Бесплодная энергия Тоболина раздражала районного прокурора.

Машинистка подала разрезанный у края конверт. Знал: обычное «не обнаружено», вытащил бумажки без интереса, а это — договор с колхозом на ремонт двигателя и расписка Замылина на тридцать тысяч.

За окном в снегу погибали машины, и он должен был сидеть сложа руки и ждать, когда наконец опорожнится небесный мешок. Было бы поближе, двинул бы пешком, по целику, как хаживал на фронте.

Спустя неделю, как только установилась дорога, завод выделил машину. Дотащились к вечеру, спустились в котловину между холмами. Домишки на косогоре, без дворов, попадались и полураскрытые — деревня побывала под немцем.

Около часа ушло на формальности. Запротивься люди, оставил бы им двигатель, а там, как говорится, было бы видно. Но ведь никто не запротивился, никто не поднял голоса. Смотрит в окно Тоболин — грузят. Шофер по дороге потом признался, что взял ребятам у какой-то бабки свекольного первача. Неужели Замылин прав? Неужели никому не нужно? И как же потом он обрадовался, узнав, что в деревню уже два раза приезжал местный участковый, и оба раза движок ему не отдали. В конце концов он сдался на уговоры и отписал, что «дизельного двигателя марки 2Д 30 лошадиных сил не установлено». Отсюда и вся волокита пошла и все долгие-долгие розыски. И лишь после новой грозной бумаги забрал у счетовода и договор, и расписку и отослал в город.

А вывез он дизелек ночью, когда порожние вагоны с заводской ветки убирал. Сам загрузил двигатель краном в пустой вагон и сигнал машинисту — трогай!

Вахтеру и в голову не пришло.

— Чайку вам не подлить, Геннадий Петрович?

Чай он пьет крепчайший и хитро его заваривает. Накрывает полотняной салфеткой, так не улетучивается аромат.

Телевизор приглушил, чтобы не мешал вспоминать прошлое.

— Я ведь тогда всего-навсего юридические курсы закончил. Шесть месяцев — и ученый. Жил с фронто-

вым дружком в общежитии, в подвале. А у самих набросок: до лета, а там к настоящим заботам, я собирался в сельскохозяйственный, а он в технологический, и ушли бы, да тут подвернулся Григорий Иванович. Рассказываю о нем приятелю, помню, он сидел на подоконнике, на самом светлом месте и подрубал бахрому на брюках. Посмотрел на меня, сразу ничего не сказал. Откусил нитку, заколол иголку за борт пиджака (ценность была!), натянул брюки (снова стали приличные) и говорит: «Давай останемся». И вот теперь, столько времени прошло, и опять свиделись с Григорием Ивановичем. Разве не любопытно?

Уйдет Василий Васильевич, и никто не будет знать в лицо старых друзей.

— Как он там со своим семейством?

Я уклончиво ответил, что он больше в гараже, при сварке, тисках, отвертке. Заработком озабочен. А со мною о чем ему говорить?

Василий Васильевич пытливо смотрит на меня. Подливает мне чай. Я хвалю. Взглядом на моем лице больше не задерживается, сочувствия уже не ищет и сожалеет, что разоткровенничался со мною.

А я все понимаю. Но как же мне быть? Разве я в таком деле свидетель? Если бы он знал!

Смотрю ему в глаза. Если есть телепатия, он поймет, а если нет, то должен знать, что я ему не враг. Даже напротив.

— Со стороны, конечно, кому от них обида?.. Вот теперь чаек еще лучше. Совсем настоялся... Трудятся в сарае. Ну и пусть. А вы только, Геннадий Петрович, посмотрите! Вы только взгляните...

Он разволновался.

— Как поживает ваш родитель? Поклон ему от меня. В своем характере сына воспитал... Нельзя им, Геннадий Петрович, волю дать. Нельзя!

Так мы и расстались, он открылся мне, а я ему нет. И неловко прощались, просто хоть сквозь землю.

24

Мать привезла гарнитур, и отец его собрал. Стало солидно и тесно. Сверкает гарнитур, и сверкает мать. Отец тоже радешенек. Она утешится и реже станет

объяснять ему, какими должны быть настоящие мужья.

Впрочем, если быть справедливым, мать несколько попригасла. Батя вначале был отделенческой достопримечательностью, потом его сияние распространилось на всю дорогу, а теперь опыт Щепкина обрел бумажную жизнь по всем дорогам. Если бы только вместе с бумагой разослали его любовь к буксе!

Заходил Николай Иванович и восхищался моими чертежами. Как же! Я делаю извечное дело, чтобы цепь не прерывалась. Он весь выбелен временем. Собирается завести садик — и на отдых.

Как мне было тоскливо слушать его! Давно ли он был такой могучий и крепкий? Неужели я и сам так постарел?

Оделся в батин полушубок, натянул ушанку и решил высунуться наружу, чтобы размять ноги.

Машины клубят дымками. Улицы озвучились. Из-под ботинок скрип. Все бегут, все музыканты. У каждого своя мелодия. Ворона поодаль от гастронома расклевывала какой-то смерзок, подозревая в нем питательные свойства, била не на шутку, размахивалась всем корпусом, голова опускалась, хвост поднимался. Я сострадательно взглянул на нее — босая.

Вряд ли она узнала меня в батином полушубке. Вынужден был сказать ей: «Это же я, который всегда ходит с чемоданчиком». Она подозрительно посмотрела на меня: «Знаем таких друзей», — и продолжала заниматься своим насущным делом...

Обежал поселок, он был весь в инее, куриными лапками торчали пухленькие ветки.

Прошелся и двинул домой.

Ивушка со своими мертвыми листьями стояла, будто в свадебном платье.

Сел заканчивать курсовой и собеседовать с движущейся на колесах материей, полагающей, что все дело в количестве движения. Теперь я уже не спорю с ней, не отвергаю с хода все, что она мне внушает.

Может быть, весомо и количество движения.

Воздвигнув мучной склад, Славка вернулся от выездной работы к оседлой. Татьяну я стал видеть только издали. Да случайно столкнулись в центре.

Я ждал ее звонка. А раздался другой. Звонила Светлова. Она еще не потеряла ко мне уважения. Я был благодарен ей за это. Говорили дружески. Я-то себя

больным не считал, но для нее было ясно, что я неизлечим. Тогда зачем она пригласила меня к себе, точнее, к деду? Она приехала навести в его комнатах блеск.

Я уклонился бы от визита, если бы не понял по тону, что мы вернулись к начальной точке наших отношений — мы просто друзья.

Открыл мне хозяин, приветливо посмотревший мне в лицо. Надеялся, что мой визит обрадует его любимую внучку. Иначе зачем идти?

А я ответил ему уклончивым взглядом, и в его старческих чертах мелькнула тревога.

Вместо того чтобы оставить нас одних, он зашел в ту же комнату, где Лида, в фартуке поверх выходного платья, протирала мебель фланелью. Пахло полиролем.

— Здравствуй, — сказал я.

Я следил за ее ловкими руками, делавшими привычные круговые движения. Нужно сказать матери, как знающие ухаживают за такой мебелью.

— Возьми, полистай что-нибудь. Я скоро закончу.

У полноценных людей порядок важнее всего. На ее месте я сразу бросил бы тряпку.

Раскрываю журнал. Интервью с делегатами конгресса...

«...За что вы любите зарянку?»

«...За доверие к людям, песни, которые она им дарит, хрупкость (Т. Нор)».

— Как ты поживаешь? — спрашивает Лида, продолжая с помощью фланели добывать зеркальный блеск, нужный дорогому шкафу.

— Средне.

Старик складывает в папку бумаги, берет шариковую ручку, наверно, собирается уйти в другую комнату, чтобы не мешать нам с Лидой. Он уже понял: в наших голосах нет теплоты, одни задние мысли. Его больше нас тревожит, что молчание затянулось до неловкости, и он спрашивает: как работа, как наука?

Ответил, что телевизоры, слава богу, ломаются и работа есть, а что до науки, то науку подзапустил, придется брать отпуск за свой счет.

Лида полуоборачивается ко мне. «Много времени ушло на шашни». Я продолжал смотреть на хозяина.

Снова пауза. «Птицы дали человеку краски, песни, движение, вдохновение (Дж. Босвал).

«Да, птицы ровнее людей», — мысленно соглашает-

ся с этими словами хозяина и, шаркая, направляется с бумагами к двери.

— Его книгу одобрили, — сказала Лида, наконец оборачиваясь ко мне и смело разглядывая меня.

Я не прячу глаз, не лгу, что переменился к лучшему. Раньше я хотел казаться ей упрощенным, и это было мне легко из-за недостатка хитрости. Она и приняла меня таким. А сейчас обнаружила, что я чудовище, волк в овечьей шкуре.

Я и сам знаю.

Подошел к ней, взял ее холодную руку, не занятую тряпкой. Мы были рядом, но в разных мирах.

— Анатолия Анатольевича я прогнала.

«Выйти за него, — подумал я, — только потому, что ее покинул другой? Что может быть унизительней?»

Она ждала моего ответа, ведь препятствий отныне на нашей дороге не было.

А я подло молчал.

Потом мы о чем-то говорили. О чем — уже не помню.

Лицо у нее было неяркое. Василий Васильевич, наверно, стал ее хвалить. В голосе у нее было меньше уверенности, чем прежде, появилась задумчивость, какой не было. Такие, по мнению Василия Васильевича, на девятом много полезней.

Теперь, наверно, он будет доволен, что судьба уберегла Светлову от такой двухслойной личности, как я.

Закончив работу, Лида стала собираться домой.

Хозяин вышел запереть за нами дверь. Он был чрезвычайно вежлив и смотрел мне в грудь. Зачем я пошел сюда?.. Я знаю, он дал бы нам самую большую комнату, и я мог бы каждый день видеть этого милого человека.

Я проводил Лидию до остановки.

Сентябрь был теплым, ходили по-летнему. Продолжалось и наше с Татьяной лето. Я ждал звонка.

В котле у Замылиных продолжали кипеть какие-то реакции, и я знал: какому-то окислу предстояло выпасть в осадок. Я горячо надеялся.

В пятницу утром я пошел в политех согласовать план курсового проекта. Иду мимо кафедры общественных наук — знакомый невысокий силуэт в необмятом костюме. Он, Анатолий Анатольевич.

Придерживаю шаг. Пусть, думаю, идет куда ему нужно. Он скрылся в комнате преподавателей родственных наук.

Поднимаюсь на второй. Поговорил с кем надо, спускаюсь вниз, а он впереди, как будто ждал. Деваться некуда. Остановились.

Собирает отзывы на диссертацию. В руках книжонка, говорит, ценная, купил в нашем киоске. Брошюра, пожалуй, о том самом мире, где рядом с суровой необходимостью уживается подлая случайность.

Не говорить со мною — значит уронить свою интеллигентность. Да и на таких не обижаются. Кто я? И если уж разбираться до тонкости, сказал он, дело не во мне, а в Лиде, в ее капризе. Могла бы остановить выбор и на ком-нибудь похуже меня. Каприз. Да и сильно занеслась: должность, папа. Ударилась в женские эксперименты, которые кончились плачевно.

— Нет худа без добра, — говорю. — Теперь уже нет других, никто не мешает.

— Извините, хватит.

«Позовут, — думаю, — побе-е-ежишь! Да не зовут».

— В принципе, меня не щекочет. Работа написана, специалисты одобряют. Можно и подождать.

Прощаемся. Рука у него мягкая, без единой мозоли.

— Кланяйтесь ее отцу, — говорю.

— Непременно. Он будет рад вспомнить о вас.

Вижу, смотрит на меня внимательно. Что же, мол, в этом типе особенного? Должно же быть особенное. Ничего такого не нашел. Да и как найдешь то, чего нет? Успокоился. Особенного все-таки нет...

— Да я сразу понял, что вы вместе не будете.

— Да, — сказал я. — Сразу было видно.

Мы стояли в вестибюле у окна. Он с новым портфелем в руках, брошюрку положил на подоконник, я со своим потертым баульчиком.

— В общем... — Он хотел что-то сказать, но дрогнула складочка у рта, и он, повернувшись, пошел к выходу. Я догнал его, отдал забытую им брошюру.

— Ты извини меня, — говорю. — Не знал, что так выйдет.

Он взял книжонку и, не взглянув на меня, потянул на себя дверь.

А в тот же день, в пятницу, в шесть вечера, как и было условлено, раздался звонок. Мать подошла (из кухни до аппарата ей три шага), но трубка уже была у меня в руках.

— Это мне,—сказал я скучным тоном, но мать все поняла. Отправилась на кухню сумрачная, готовая вырвать у меня трубку и сказать Татьяне все, что думает о ней.

Голос у Татьяны веселый. Машину Славка сделал, а рыбка приплыла сама, привез клиент.

— Говорит, что подтянуть что-то осталось, но я-то вижу: не хочет, чтобы я выезжала. Самому ведь не ехать. Так что в субботу в одиннадцать в том же ложку.

Добавила, что Славка будет в гараже у клиента.

Суббота выдалась удивительно солнечной, но время совсем остановилось. Сначала я сидел на скамейке у палисадника, решал, под каким кустом мог в давние годы обитать шершавый, если только наш палисадник его устраивал. Потом покрасил на балконе перила а до одиннадцати все еще было далеко.

Решил провести легкую профилактику батиному мотоциклу. Отец даже обрадовался. Он совсем его забросил. Уже официально любит буксу и отписывает ответ на какую-то большую анкету. Бумага важная. Для Москвы. И он доверил матери править ее.

К переписке у матери талант. Все анализы в отделе составляет она. И разные дипломатические ноты.

Так что в субботу родителям было не до меня. Матери еще нужно и на работу съездить, и отпечатать ответ на мелованной бумаге через полтора интервала. И отнести на почту.

Ее престиж в отделе поднялся. Все видели отца на экране.

— А ты же говорила, что он рабочий?

— Теперь рабочие разные, — сказала она.

Ее вдруг и самое заметили: засиделась на одном месте! Ничего конкретного не обещали. Начальнику до пенсии целых два года. Но она рада и разговору. С Ольгой Федоровной по телефону прямо воркует, водой не разольешь. От великого до смешного один шаг, столько же от смешного до грустного.

Теперь, если печет пирог, то один для нас, другой для Ольги Федоровны.

И какой костюм отцу купила! Он ведь известный...

Тайком прибежал Антошка, посидел в коляске, пока не послышался голос матери: она громко звала его. Мы переглянулись. Я вытащил его из люльки, подкинул вверх и поставил на ноги.

— Мы поедем сейчас с мамой по окружной.

И окольно пустился между сараями на зов.

Она решила покатать Антошку, пусть Григорий Иванович видит. А потом отвезет обратно и уже одна помчится на окружную.

«Мы обо всем, обо всем поговорим. Мы ведь с тобою ни о чем еще не говорили».

Она и сама не знает себя настоящую. Со школьной скамьи — и к Замылиным.

Что она ответит?

С тихим шорохом на самую душу падали листья, устилая люльку и сиденье. Я подставил им ладонь, но они падали мимо, неловко тыкаясь во все, что попало, то боком, то черенком.

«Обгоним солнце — решим!» — бодро сказал я себе. Может быть, слишком бодро.

Я уже готов был закатить мотоцикл в стойло, как подбегает Григорий Иванович. Голова голая, на шее шарф, а сам в одной рубашке, в руках гаечный ключ.

— У них колесо... колесо отвалится. Ты поезжай в эту сторону, я в эту. Мы их настигнем. Мы можем настичь. — И старчески затрусил к себе.

Я дал газ, закинул ногу на седло и выскочил со двора, обтирая о штанины мазутные руки.

Не будь день субботний, я был бы покойник. Нельзя ездить, чтобы от тебя шарахались и те, кто справа, и те, кто слева, но была суббота, казенные машины стояли на приколе, остальных было негусто.

Не проехал полутора-двух километров, как заметил на дороге затор и почувствовал, что у меня деревенеют руки. Сбросил газ и медленно стал подъезжать.

Машина лежала вверх колесами на вдавленной внутрь кабине. Дверцы были заклинены. Бестолково суетились люди, а мимо продолжали мчаться автомобили. Любопытные на минуту притормаживали.

— Что же вы стоите? Перегораживайте дорогу, — заорал я. — Выйдут люди, мы поставим ее на колеса.

Двое «Жигулей» стали встык и перекрыли путь.

Через две-три минуты мы перекантовали машину на колеса. Молотком я выбил боковое стекло, стараясь не разбрызгивать осколки.

Татьяна лежала на боку, лицо было в спекшихся бурых потеках. Антошка сполз с сиденья вниз и, постанывая, копошился там. С таксистом отжали монтировками дверцу. Я вытащил Татьяну.

Она была теплая, сердце билось.

Я вытянул сиденье, отнес на траву, за кювет. Перенесли туда Татьяну. Одна нога была в туфле, другая в одном чулке. Нашел туфлю, обул ее.

Потом вытащил Антошку.

Лицо запачкано кровью, но ни ссадин, ни синяков. Вымазался, когда лежали рядом на сиденье.

— Ты можешь стоять?

— У меня щека разрезана. — Он дотронулся до рыжего пятна.

Я стер кровь платком.

— У тебя ничего не разрезано. — Он снова потрогал пальцем щеку.

Я поставил его на асфальт, а ладони не отпускал, боясь, что он упадет. Какая-то женщина взяла его на руки.

Дорогу освободили. Попросил таксиста позвонить куда нужно. Он ехал в город.

Подошел отпускник, возвращался с юга на машине.

— Я их догнал, кричу: колесо вихляется! Она тормознула, но поздно: сначала развернуло багажником вперед, потом завалило набок, потом вверх колесами.

Баллон валялся в кювете, полулежал на откосе.

Из ГАИ приехали первыми и занялись своим делом.

Составят протокол: небрежность водителя — и уедут. А что еще? Да, составят и уедут. Полный капитан производил замеры. С двумя привязками — к осевой линии и краю кювета. Составит и уедет минут через пятнадцать. А может быть, это сделал Славка. Отдала бы список и ничего бы не было..: Гадко так думать.

Я не знал, что мне делать. Осмотрят и уедут.

Почти подбегаю к полнотелому капитану. Он рад предлогу разогнуться. В голосе у меня тревога. Понимает: тут неладное. Вызвать следователя прокуратуры? Именно Тоболина? Идет в кабину «Волги» и связывается по рации с дежурным. Тот обещает помочь.

Потом приехала машина с красной полосой и крестами. Татьяне разрезали лифчик и стали обрабатывать рану.

— Кто пустил сюда ребенка?

Женщина, державшая Антошку, уехала, и он подошел туда, где толпились люди. Поднял с травы лифчик и еще что-то.

— Это мамин. — И стал аккуратно сворачивать его.

Обтер пальцы о штаны.

Водитель «скорой помощи» отвел его в сторону.

Сделали уколы. Татьяна в сознание не приходила. Либо тяжелое сотрясение, либо ушиб мозга. Переломов на ощупь не нашли. Ее увезли, Антошку не взяли.

Когда я заслышал сирену, то догадался, что мчат Василия Васильевича. ГАИ одно, а он — другое. Подъехав, проворно вылез из кабины и тут заметил меня.

— Давненько, давненько не виделись, Геннадий Петрович. Значит, колесо соскочило? Очевидцы-то есть?

Я показал на молодого отпускника с бородой и на его жену в безрукавке, не по нашей погоде.

— А вы пока гаечку поищите, а с места не берите,— сказал он полному капитану и как бы тоном своим и выражением ласкового лица дабавил: «Пройтись-то полезно, на машине и надоедает, знаете».

Капитан пошел.

— Да вы не один идите, а понятых возьмите, вот хоть эту гражданку и вот эту, — указал на жену бородатого отпускника и на полную женщину в спортивном костюме и кедах. — Чтобы они видели, где вы ее нашли. Вдруг понадобится.

Те двинулись вслед за инспектором.

— А это что же у тебя в руке?

— Это мамино, — сказал Антошка.

— Ты, значит, с нею сидел? Давай мы его сошьем, постираем и вам принесем, а пока он нам нужен.

Аккуратно взял у мальчугана вещь.

— А еще ничего не подбирал? Может, мама что отдала или врач?

Антошка протянул ему сложенный вчетверо и слипшийся от крови листок.

— Это мамин листок. Он отсюда выпал.

Он показал на лифчик.

Василий Васильевич развернул листок, держа за края. Два столбца серий и номеров машин. Скорее всего разного диаметра колеса. И даты против каждой.

— Мы эту бумажку маме отдадим. Она будет у нас в целости. А гайку-то не подбирал?

Антошка отрицательно покачал головой.

Гайку ступицы переднего колеса нашли только тогда, когда Василий Васильевич заставил этим заниматься всех. Она лежала в сухой траве, в кювете, в каких-то трех-четырех метрах от соскочившего баллона.

Он долго разглядывал ее, но свежих насечек не было. Зачем я вызвал его? Славка ни сном ни духом ничего не знает, а я вызвал. А может быть, знает? Разве Славка глупый? Мягонько отжал ключом, да не полностью, а легонечко-легонечко, может, на полниточки, чтобы подальше все случилось и показалось бы людям ее оплошностью... Нет, у него и в мыслях не было! Какая гадость! Зачем я вызвал? Он же знает, что Татьяна ездит с Антошкой. Да разве прибежал бы Григорий Иванович, если бы все по умыслу? Значит, Славка, еще не успел подтянуть, а она...

Григорий Иванович появился на месте поздно.

По дороге плохо стало, прихватило сердце, на самого фляжку воды вылили мимоезжие шоферы. Ему бы самому в неотложку, а он все-таки сюда притащился.

— Значит, беда у вас, Григорий Иванович? Очень вам соболезную, очень.

Григорий Иванович измученно смотрел ему в глаза.

— Где техника, Василий Васильевич, там и горе. Какой из женщины водитель? Один фасон. Сколько раз ее предупреждал, погляди, прежде чем выезжать, все ли на месте, не болтается ли что-нибудь. Но ведь это же руки надо пачкать, а они крашеные, с ноготочками, а гайку-то ими попробуешь, а руки потом долго отмывать. Да еще и отмоешь ли? А ездить все любят. Говорю ей: проверь сход-развал, толкнешь ногой в колесо— гайка легонечко цокает... После трех тысяч подтягивать надо! Да все авось, еще разик съезжу!.. Вымчалась из гаража, прибегаю — уже нет. Муж-то ей в последнее время ключи не давал. Поправлю, говорит, тогда езди. А она не слушала, раза два без него ездила, тайком брала ключ. Уверилась, что он ущемляет ее. Я-то в их дела не лезу. Не нравлюсь ей.

— Да, Григорий Иванович, молодые все норовистые..

Он взглянул на меня.

— Мешают им старики. А оно видите к чему ведет. — Была бы малая скорость, она бы почувствовала. А ведь она мчится, если б вы видели... А куда ей спешить? Какие у нее заботы?

«Она хотела обогнать солнце». Когда переворачивалась машина, солнце то погасало, то вспыхивало.

Легче было бы на душе, если бы во всем был виноват Славка. Но я уже догадывался: просто нам было не дано обогнать солнце.

И все-таки при встрече со Славкой я спросил, не он ли все подстроил.

— Да ты что, Гена, свихнулся? Ты думаешь, если мы с нею не ладим, то я... Тебе хорошо, тебе делить нечего и не с кем. Ты всегда прав. А у людей самостоятельных без этого не бывает. Чудак ты... Пойди в больницу и спроси. Первый корпус, восьмая палата. Могу и халатик белый занести... Ты попей водички. Жена-то она моя! Моя, Гена.

Был конец октября.

Я пришел к ней в больницу. Сказали, что операция кончилась хорошо, вытащили осколок стекла.

Она уже ходила. Мы вышли из палаты в коридор. Она была в застиранном халате и в больших стоптанных тапочках, с бескровным восковым лицом и запавшими глазами.

— Что же ты держишь его в руках, отнеси в тумбочку, — сказала она, указывая на целлофановый пакет с яблоками. Пыталась улыбнуться, но мускулы лица и веки двигались неохотно.

Долго ей стоять было нельзя, и я взгромоздил ее на подоконник. Один тапочек шлепнулся на пол. На окружной она тоже была в одной туфле. Я поднял его, натянул на худую холодную ступню.

— Ты хоть помнишь, как все это случилось? Может, газ хотела сбросить или тормозила?

— Мчалась так, что, думала, на воздух над шоссе поднимусь. Один восторг! С ним и попала сюда.

— А я все сомневаюсь: не Славка ли подстроил?

Сказал тихо, не сводя с нее глаз.

— Ну ты выбрось из головы эту глупость, — проговорила она строго. — Сама виновата. Не поверила ему.

— Не поговорили мы тогда. А ведь я надеялся... На кой леший тебе все эти приключения? Ты же другая. Ты... Ты... не знаю, как сказать. Ты же в неволе.

— А ты хочешь меня от Славки спасти? Как в романе? Ты хочешь, чтобы я жила, как ты? Чтобы жизнь была неинтересной? Ты, значит, вот так меня любишь?

— Как рано в этом году осыпались листья, — сказал я, глядя в окно.

Она не повернула головы вслед за моим взглядом. Все еще гневалась. Но скоро, как это с ней бывает, весело проговорила:

— Ты обиделся? А я ведь часто думала о тебе. А ты обо мне?

Деревья стояли голые, как новобранцы на призывном пункте.

— Не надо больше думать обо мне, — сказал я.

Ее глаза блеснули недоброй синевой, но почти вслед за этим она бархатным голоском попросила снять ее с подоконника.

— Ты уходишь к н е й?

«Почему на этой рябине нет птиц? Наверно, боятся ходячих больных. Что же их бояться?»

— Я ухожу, Таня, к своим. Я слегка отбился от них.

По взгляду, которым она меня окинула, я ждал свежей реплики.

— Ты всегда был вывихнутый, жил чужим умом.

— Но в конце концов мне повезло. Я попал в правильные руки. Ты меня просветила.

— Зачем ты сюда пришел?

Физические недуги не притупляют любопытства. Больные, стоявшие около или проходившие мимо, поглядывали на нас. Иные останавливались.

— Скатертью... — сказала она.

— Пока, — сказал я.

Я возвращался домой пешком. Осенние дни были похожи на весну. Тепло. Грязь под ногами, словно после растаявшего снега. Деревья были голые, будто ждали, чтобы распуститься. Листья из-под них давно смели. Светило нежаркое солнышко. Но внимательный взгляд сразу приметил бы разницу в работе солнца. Весной оно светит так, что чувствуешь в нем запас. А осенью — минута и поворачивает на холод, старается из последних сил. Близки, близки морозы, они скуют землю, и эти последние насекомые — жучишки, мушки, паучки, еще ползающие кое-где у подножия стволов по комковатой земле и свежеопавшим листьям, — замрут и станут до весны недвижными льдинками.

Мать спросила дома, как Татьяна. Я сказал: хорошо.

Позади всего-навсего лето и осень, а кажется, прошли годы.

Мать и отец думают, что десять зимних дней были даны на курсовой проект. Верно. Я закончил его и легонько удаляю с чертежей последние карандашные штрихи и смахиваю с бумаги последние крошки резинки.

Но я-то знаю, что эти десять молчаливых дней мне были даны, чтобы передо мною вновь прошли и лето, и осень, чтобы попутные мысли обежали полный круг.

Нельзя сломя голову мчаться по житейским колеям. Нужно и время, чтобы осмотреться.

За окном опять ничего не разглядеть во вьюжной замети, зима снова взялась за свое, ветер нещадно треплет в ящиках верхушки засохших цветов.

Совсем недавно, уже зимою, приходит к нам Полозов. Мы с батей сидим у меня в боковушке, прикидываем, что лучше купить вместо кресла-кровати. Износилось да и коротковато мне. Стул под ноги подставляю. Батя не ждал его. Толкуют о разных разностях, но вижу — не за тем пришел.

— А знаешь, Петр Павлович, меня ведь из-за вашего знакомого в одно учреждение вызывали. Из-за Григория Ивановича.

Я сразу догадался: вызывал Тоболин.

Пришел к нему Полозов, сел у большого стола. Тоболин заполнил анкету. Полозову процедура известна, бывал на допросах. За окном простор. Небо есть небо, хоть и зимнее.

Полозов уже знает, зачем вызвали. Он покупал у Замылиных шины. Полный комплект. Еще недели две назад ему вдруг позвонил Григорий Иванович и сказал, что вышла неувязка. Шины-то оказались хоть и свежие, а какие-то сомнительные, так что могут вызвать для разбора. «Смотрите, как лучше».

А что до самого Григория Ивановича, то он и сын могут сказать, что никаких шин, мол, не было. «А то ведь знаете как это бывает: отберут их там же в милиции, и останется машина на пузе. У них ведь это живо». Самого Замылина пока не вызывали, но если что, так чтобы Полозов знал: о шинах не упомянут. Пусть будет в надежде.

Время идет. Полозова не вызывают, и Григорий Иванович о себе ничем не напоминает. Значит, и его не вызывали.

И вдруг на завод звонок. Приходит инспектор из отдела кадров и просит Полозова на четверть часа заехать. Подает адрес: районная прокуратура.

А там:

— Наверно, догадываетесь, по какому поводу вас вызвали?

— Да нет, — говорит Полозов. — Наши службы как будто не пересекались.

— А знаете ли вы Григория Ивановича Замылина? — Следователь насмешливо улыбается. Не понравился ему ответ Полозова.

Игорь Николаевич сказал, что знает. Замылин ставил на его машину глушитель.

— Вы, вижу по анкете, с ним земляки? Давно ли в родных местах бывали?

— Да уж года три назад.

— А там-то вы с ним не встречались?

Подумалось Полозову, что уже побывал тут Григорий Иванович. Откуда бы знать, что они мельком и виделись?

И рассказал Тоболину о дизеле.

— А меня-то вы не узнали? Состарился? Движок-то я увозил от вас.

Завязался у них разговор о том селе да о тех временах. Уж очень хорошо Тоболин помнил село: хаты покосились, иные без крыш, о дворах нет помину, все разгорожено, на конюшне три запаленные лошади, брошены немцами.

— Чем же вы в первое время после немцев кормились? — спрашивает он Полозова.

— Больше на подножном. С осени подмороженную картошку накопали. Терли на крахмал, на оладьи. А еще жмых. Так... кое-что. А весною трава пошла: щавель, лучок, всякая мелочь. Да и потом потянулись негустые годы. Откуда быть сытости: восемь центнеров с гектара.

— А сколько же Григорий Иванович взял с колхоза за движок, если не секрет? — полюбопытствовал Полозов.

— Тридцать тысяч как одна копейка, Игорь Николаевич.

— А у Григория Ивановича деньги были всегда, — сказал один.

— И мясо, — сказал другой.

И вышло: союзники.

И позабыл Полозов телефонное совещание с Григорием Ивановичем и уточнил все, что надо.

— А как же с колесами? Отобрали? — спрашивает отец.

Оказывается, нет. Уже не новые. Сказали, что опла-

тит по прейскуранту. А те деньги, что Славке уплатил, — Замылиным на бедность.

Ушли они в большую комнату потолковать о буксе, а я стою, гляжу на башенный кран. Прислонил колени к теплой батарее. Голова у крана пустая. По лестнице лезет в нее машинист. Рычагами ворочать.

А колеса-то Полозову ставил Славка в далеком сарае на Ямках. У своего деда. Еще здравствует. И в жизни разбирается.

А через день или два прибежал Славка.

Спрашивает, не смог бы я узнать, почему таскают его клиентов. Я сказал, что ходу мне туда нет.

Но моих слов было ему мало, и он взглянул мне в лицо.

И меня вдруг насквозь прожалила его тревога. И его непривычные, новые глаза, полные тоски. Боже мой, неужели все это происходит с нами?

— Слава, поверь, мне туда нет ходу.

И мы впервые за годы посмотрели друг на друга участливо и чисто.

Неужели все это происходит с нами?

С этой минуты я больше не ждал, как пойдут дела у Василия Васильевича. Я вспоминал Славкины глаза. Почему раньше мы никогда не заглянули друг в друга?

Целый день я маялся, оставаясь наедине с собой. С таким.

И только сегодня утром, в самую вьюгу, глядя на непроницаемую белую пелену, слушая грохот листа на балконе и дрожание стекол в раме, я вдруг подумал: ну должно же быть за этой метелью чистое пространство? Должна же быть ясность?

Ясность пришла днем, хорошо помню, «Маяк» пропищал 12. 00.

Славка явился опять.

— Я все насчет клиентов. Ты не смог бы все-таки узнать? Поговори с кем надо, скажи, что я в долгу не останусь. Ведь помог же ты нам с номерами... Она вся жизнь такая.

А я-то умилился, видя утром его просветление!

— Конечно, — сказал я. — Общее — ничье.

Он вскинул на меня пронзительный взгляд исподлобья. Какой выпуклый лоб!

— Но ты откусывай от него без меня, да осторожней. В нем косточек много, — добавил я.

— Вот ты какой! — протянул он, сузив глаза.

И тут же заверил меня, чтобы насчет косточек я не сомневался, все будет о'кей! А если «химию» дадут, то до стройки всего восемьдесят кэмэ, есть на чем доехать. В субботу и воскресенье ночевать будет дома.

Кого из них жалеть: Татьяну или Славку?

Стрясись все это внезапно, сердце бы разлетелось на куски, а когда постепенно, со ступеньки на ступеньку, то ведь и привыкнуть можно.

Третий акт разыгрался без моего участия. Скорее всего тонкий Василий Васильевич меня пожалел. Впрочем, я и не собирался запираться, я снова был гордым работягой.

Славка вернулся от меня в гараж, а Василий Васильевич уже сортировал там автомобильный дефицит. Новенький, в заводской смазке. Нашел кое-что и на Ямках...

В свободное от чемоданчика время я порою выбирался на окружную, которую уже считал новым членом нашей семьи, она свела отца с Полозовым, мать с Ольгой Федоровной, а меня разлучила с Татьяной.

На окружной между пухлыми снежными берегами совершалось равномерное и прямолинейное движение, а в небе над окружной по-прежнему высилось солнце, которое недавно мне так хотелось обогнать на одном из поворотов и прижать к своей груди. Оно сияло еще великолепней. Если раньше его лучи, достигая земли, навсегда угасали, то теперь ослепительно сверкали на холодном снегу. Солнце и теперь двигалось в ту сторону, куда в памятную субботу мчалась Татьяна.

Оно смотрело на меня снисходительно. Разве мало чудаков? Разве дано обогнать солнце?

СУМКА ИНКАССАТОРА

РАССКАЗ

Побег был дерзким и удачным. В промзоне верные друзья замуровали Федора Лаптева в стеновой блок размером 2,38×2,00, где была оставлена нужная пустота. Когда Федор лег, его накрыли тонкой опалубкой, опалубку обмазали слоем бетона, не забыв об отверстиях для дыхания. На июньском солнцепеке корка бетона схватилась почти столь же прочно, как после пропарки в ванной. Петли для строп заделали поглубже и подъемным краном уложили блок в машину, поверх других...

Когда шофер, миновав охрану, доставил блоки на строительство, он обнаружил, что один из блоков словно взорван изнутри и зияет странной пустотой...

Федор не поехал сразу в родной город: знал, что там его ожидают, чтобы водворить обратно. Подался в глухомань, где на вопрос: «Возьмете ли без паспорта?» — чаще отвечают «да», чем «нет». Он пристал к геологам, у которых подохли олени, а ежедневные маршруты по горам были вдвоем длиннее обычных, и инженеры уходили из лагеря в маршрут одни, без рабочих: у них не было ни людей, ни времени, чтобы следовать инструкции, которая запрещает выходить в маршрут поодиночке. Федор носил тяжелое геологическое оборудование, кормил десять человек, всегда голодных и невероятно усталых, надзирал за намоткой портянок и стиркой рубашек, которые иногда ломались от соли, стрелял оленей и коз. После того как ночью в лагере побывал медведь, пришлось сделаться и сторожем. Экземпляр попался мерзкий: окунался в ручей и отряхивался над костром. Эту процедуру он повторял до тех пор, пока не гасил огонь. Потом начинал хозяйничать: разрывал рюкзаки и пожирал консервы. Банка лопалась, как только он наступал на нее. Федор впервые по-настоящему выспался лишь после того, как всадил ему в голову жакан... Гиблые места. Горы, тайга, болота, гнус. После маленького дождика сопки затягиваются туманом, камни делаются скользкими; из мха, который стелешь в палатке на слеги, сочится вода. Только там и оценишь приобретение человека — огонь...

Теперь на душе было тревожно и радостно. Не отрываясь, он глядел в окно, перестав замечать духоту, которая стояла в цельнометаллическом вагоне и от которой он весь долгий путь страдал.

Скошенные желтые хлеба лежали в валках, отделенных друг от друга широкими прокосами. Среди желтого моря стояли зеленые острова кукурузы. Вдали виднелось ослепительно-белое, словно осыпанное снегом, поле цветущей гречихи. Огибая участки, бежали укатанные колесами дорожки, блестящие посередине и шершавые по краям. Они были до слез знакомы, походили на когда-то виденные и звали пройти по ним. К горлу подкатывал ком.

Каждый полустанок с белоногими столбиками, с крышей над колодцем, с домиком из красного кирпича приближал минуту, о которой Федор думал полгода. Стоят ли взятые деньги тех страданий, которые он испытал и еще, наверное, должен будет испытать? Но мысль о том, что эти деньги помогли ему найти ее, заставляла его не столь тяжко осуждать себя. Он просто не хотел думать о будущем. Оно только изредка маячило где-то вдали, едва различимое и нереальное. Он закрывал глаза на все беды, которые ждали его. Он считал, что дает за них настоящую цену. Вначале жизнь не обещала бед. Жена была заботлива и сердечна. Она работала на химзаводе лаборанткой, неплохо получала, рано возвращалась домой (смена была укороченной). Ее небольшая комната сверкала чистотой. Жена была у родителей единственной дочерью. Старики, имевшие в деревне сад и пчел, жили только хлопотами о ней. Порою Федор чувствовал себя иждивенцем. Лишь теперь он понял, что такое уют. Но только отворотил от пня, как наехал на колоду. Во время каких-то опытов жена отравилась газом и почти три года страдала, пока не умерла в больнице. До последнего дня Федор не хотел отступиться от нее, думал, что усилия врачей не пропадут даром и жена встанет на ноги. Эти три года состарили Федора, подсушили большую фигуру, седые нити еще прятались в густой шевелюре, но он-то знал, как их много. Ему было уже тридцать пять.

Лаптев работал продавцом-мясорубом в магазине коопторга. Своим несложным обязанностям он отдавался весь. Огромным топором он орудовал, словно парикмахер бритвой. Он мог отрубить кусок на любой запрос.

Если женщину стесняли средства, он рубил мясо с точностью до нескольких копеек. Его честность вошла в поговорку у начальства в торге. Кладовщики на базах любили его за то, что он не считал за труд принести тушу из холодильника или отнести ее обратно, вкатить на весы бочку с жиром или забросить на штабель мешок с сахаром.

Когда уходил на пенсию директор магазина, он порекомендовал на свое место Федора. Человека надежнее он не знал.

Лаптев принял магазин не сразу. Его пугала материальная ответственность и огромный месячный оборот. Лишь после того как в торге ему пообещали на первые три месяца прислать в помощь учетчика, Федор согласился.

Вернувшись однажды с базы, он увидел в конторе магазина девушку лет двадцати пяти, очень милую. Она сидела у окна и, видимо, страдала от бездействия. Федор догадался, что она и есть обещанная учетчица.

Девушку звали Светланой.

Днем Лаптев был занят ездою по базам и выдачей товара в отделы. Для освоения учета оставались только вечера.

Федор оказался довольно понятлив и скоро почти без ошибок составлял товарные отчеты, производил разноску в складской книге, таксировал накладные. Уткнувшись в бумаги голова к голове, Лаптев и Светлана часто засиживались допоздна...

Во всем виноваты были эти вечера и, наверно, динамик, доносивший из парка грустную музыку.

Его любовь загорелась, как дрова, почерневшие от времени и дождей, но ставшие наконец сухими. Размеренная жизнь кончилась, одно развлечение следовало за другим... Скоро по его просьбе Светлану назначили заведующей гастрономическим отделом. Жил он теперь у нее, впрочем, в торге об этом не подозревали.

Она знала множество мелких уловок, которыми, по ее словам, пользовались все, кто работал в торговле. «Волгу» нажить с их помощью было нельзя, но от случая к случаю выходить из трудностей удавалось. Светлана сделалась в магазине неофициальным главою.

Федор не знал, когда это началось: в том ли месяце, когда он выгнал из конторы экспедитора, наглого красавца с усиками, предлагавшего ему товар без наклад-

ной и обещавшего тридцать процентов с каждой бутылки, или в следующем месяце, когда Лаптев увидел, как этот хлыщ, улыбаясь, шушукался со Светланой в кладовке.

Скоро Лаптев застал их в этой же кладовке за бутылкой вина: они «обмывали навар». Федор вышвырнул типа во двор, сопроводив ударом колена пониже спины, так что гость отлетел на клумбу с сеяной травой.

— Вот теперь я верю, что ты меня любишь, — сказала смеясь Светлана. — Только не распугай всех моих компаньонов.

Их оказалось немало. Со страхом Лаптев ждал ревизию, но, к удивлению, все обошлось. А потом таких ревизий было много...

В октябре Светлана долго не расплачивалась с компаньонами. В кладовой на дне ящика с вермишелью была спрятана инкассаторская сумка, набитая пачками кредиток. Собирались отдать долги и свернуть дело. Наконец-то Светлана согласилась! Жизнь опять оборачивалась к Федору лицом.

Но все погубил чей-то звонок в ОБХСС. Федор едва успел спрятать сумку с деньгами. Сначала побежал с нею туда, куда послала его Светлана — в подвальный склад, где у них был тайник. Но там рабочие сгружали селедку.

И тогда, перехватив наверху такси, он отвез сумку к Светлане домой и, оторвав доску, спрятал в недавно забитый проем прежней двери. Приколотить дощечку обратно было делом минуты.

Скажи он Светлане сразу, куда спрятал деньги, он бросил бы ее в вихрь непрерывных развлечений и сам бы толкнул ее в объятья франта с усиками. Клялся, что спрятал сумку в подвале...

В каждом письме в колонию Светлана прямо или окольно интересовалась сумкой, пока наконец не поверила ему. И перестала писать. «Вот оно что», — подумал Федор.

Он позвонил ей сразу, как только она вошла: будто и сам в обычное время явился с работы. Удивления не заметил. Никаких расспросов. Может, она знает о побеге? От кого? Сел на диван.

На детской площадке ребята ногами крутили барабан. Женщина загоняла мальчишку домой. Стучали «козлятники», словно вбивали молотком гвозди. Со вто-

рого этажа в раскрытое окно доносился женский голос, выкрикивавший номера. Играли в лото.

— Ну, поцелуй меня.

Федор встал, подошел и прикоснулся к ее щеке сухими губами.

— Для кого у тебя вот эти тапочки?

С этого и начался разговор. Горький, со взаимными упреками. Не такой, какого он ждал.

А Светлана стояла перед ним прежняя: молодая, привлекательная, знакомая до последнего завитка на шее.

В конце концов Лаптев подумал, что одиночество хуже пьянства: толкает на глупости людей и менее ветреных, чем она. А разве она счастлива? И он неожиданно привлек ее к себе и поцеловал крепко-крепко.

И стали вспоминать былые деньки. Скоро Лаптеву стало казаться, что эти деньки кончились не навсегда. Он вдруг подвел ее к тому месту, где проем, и сказал, что сумка здесь, в ее доме и всегда была здесь.

С той минуты, как она узнала о сумке, в ее речи, взгляде что-то изменилось. Федор чувствовал это, но не мог бы передать словами. Она сбивалась на льстивость, никак не могла найти верный тон. Он ждал, что ее смущение пройдет и она вновь станет сама собою.

— Может, тебе ванну приготовить?

И раньше Федору казалось, что есть две Светланы: одна искренняя, милая и непосредственная, другая зрелая, практичная, холодная. Они сливались в один образ и путали все его мысли. Зачем эта льстивость? Они так хорошо говорили!

Он пошел мыться. Кафель сверкал белизной, через прозрачную воду можно было пересчитать звенья металлической цепочки, тянувшейся к пробке. Федор стал неторопливо снимать одежду. Влезая в теплую воду, он вдруг почувствовал блаженство, способное притупить самые неприятные мысли.

— Федя, я к соседке, — неожиданно услышал он через дверь. — Только шампунь возьму.

Послышалось шарканье шлепанцев и стук английского замка.

«Шампунь?.. Она же знает, что я терпеть его не могу. Не хочет ли она предупредить дружка, чтобы не заходил? Наверно, ждала с минуты на минуту».

Не обращая ни малейшего внимания на лившуюся

с него воду, он выскользнул в коридор и, ступая мокрыми ногами по коврам, вбежал в комнату и высунулся в окно. Она была в телефонной будке и звонила. Никого она не встречала.

Лаптев бросился в ванную. Нельзя было терять ни секунды. Ему уже не нужно было прислушиваться к тому, что она говорила. Он знал, что она звонит в милицию. Со времени, когда здешней милиции стало известно о его побеге, к ней, наверное, уж раз десять заходил участковый, и она, конечно, обещала ему позвонить сразу, как только Федор появится.

По-солдатски быстро, в две с половиной минуты, Федор натянул на себя одежду, метнулся в коридор, охотничьим ножом оторвал доску забитого дверного проема, вытащил сумку.

Из коридора через неприкрытую дверь донеслись ее шаги. Дверь скрипнула. Она вошла в комнату.

— Что с тобою, дорогуша? — спросила она воркующим голоском и побледнела при виде оторванной доски и одетого Федора, стоящего с сумкой в руке.

Он держал ту самую серую брезентовую сумку, которую Светлана уже считала своей, о которой сладостно думала ночами, которую бесконечное число раз мысленно освобождала от содержимого, прикидывая, как распорядиться им и на что употребить.

Она поняла все, когда увидела мокрые следы на коврах и лужицу на полу у окна. На какое-то мгновение Светлана показалась Федору провинившимся ребенком, готовым искренне и горько расплакаться.

Если бы в эту минуту она призналась Федору во всем и дала бы слово стать другой, он готов был бы ее простить.

Но в уголках ее губ шевельнулась едкая улыбка, и Лаптев увидел, сколь наивна его надежда на то, что она способна просить прощения. В следующий миг она уже смотрела на него с откровенной ненавистью.

За окном было тихо. Не крутили барабан, не стучали костяшками домино. Только на втором этаже еще продолжали выкрикивать номера, словно отсчитывали секунды. Мысленно Лаптев уже видел, как со двора отдела милиции выезжает автобус...

Светлана глядела на сумку, сжигаемая бессильной ненавистью к тому, кто держал ее огромной и отвратительной, словно клешня, рукой, к тому, кто стал облада-

телем сумки, кто презирал Светлану за вероломство и низость, а сам был столь же низким, как и она, и ни на миг не хотел выпустить деньги из цепких лап.

Федор покраснел, угадав значение этого взгляда...

С непоколебимой враждебностью он посмотрел на Светлану, и вдруг на его лице блеснула ледяная усмешка человека, который неожиданно отыскал возможность показать ей всю степень ненависти и презрения ко всему, что дорого ей, ко всему, что она боготворит, чему поклоняется. Он глядел на нее с выражением человека, нашедшего наконец способ не только отомстить ей, но и унизить ее.

С какой-то особенной медлительностью он пошел на кухню. Светлана механически следовала за ним.

Неторопливо он взял с плиты коробок спичек и отвернул газ в обеих горелках, почти с наслаждением чиркнул спичкой и поднес огонь сначала к одной горелке, потом к другой.

Раскрыл металлические пластины застежек...

Только тут Светлана поняла, что он собирается делать.

У нее не было сил ни помешать ему, ни оторвать взгляда от его рук.

Неторопливо, словно палач, он стал разрывать бумажную упаковку пачек и засыпать кредитки в упругие толстые кольца огня.

Она замерла, широко раскрыв глаза, с выражением ужаса, физической боли и ненависти, не находившей выхода. Ее бил озноб.

Кредитки на мгновение скрывали пламя, потом съеживались, пожираемые им, жалко темнели, истончались и, потрескивая, распадались в прах. Среди черных лохмотьев пепла вновь обнажались красные кольца пламени.

Федор надувал щеки, словно мехи, сдувал с плиты пепел и огромной клешней доставал из сумки новую пачку...

Не выдержав, Светлана истерически всхлипнула и выбежала из кухни.

Прежде чем бросить в огонь последнюю пачку, Федор, подумав, взял из нее десяток билетов и сунул в карман: он не хотел возвращаться в колонию этапом, через отвратительные пересыльные пункты. Хотел доехать по-человечески...

Через минуту Лаптев услышал, как во двор въехала машина. Дом был угловой. В комнате одно из окон выходило на улицу, другое во двор. Лаптев выбежал в прихожую, схватил чемодан, несколькими огромными прыжками пересек коридор и комнату, распахнул окно на улицу и спрыгнул на тротуар.

Через минуту он скрылся в путанице соседних переулков.

Когда дежурный отдела милиции и его помощник после поисков нужного подъезда и квартиры вошли в наполненную чадом комнату (наружная дверь оказалась только притворенной), они увидели сидящую в кресле хозяйку, от которой долго не могли ничего добиться. Наконец она проговорила:

— Вы приехали почти вовремя. — И показала на раскрытое окно. — Почти вовремя...

От жалости к себе и злой обиды она заплакала.

На втором этаже все еще выкрикивали номера.

СОДЕРЖАНИЕ

ТИХОН ДАНИЛОВИЧ АСТАФЬЕВ

КТО ОБГОНИТ СОЛНЦЕ?

Повесть, рассказ

ИБ № 1689

Редактор И. А. Сафонова

Художник А. В. Пресняков

Художественный редактор Г. Д. Попов.

Технический редактор Т. Н. Токарева

Корректоры А. И. Винокурова, Л. В. Кобелева

Сдано в набор 14.11.85. Подписано в печать 28.02.86. ЛЕ12030. Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага типографская № 3. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 11,76. Усл. кр.-отт. 12,02. Уч.-изд. л. 12,47. Тираж 30 000 экз. Заказ № 7329. Цена 95 к.

Центрально-Черноземное издательство, книжное 28.02.86. ЛЕ12030. Формат ул. Лизюкова, 2. Областная типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли, 394071, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, 73а.